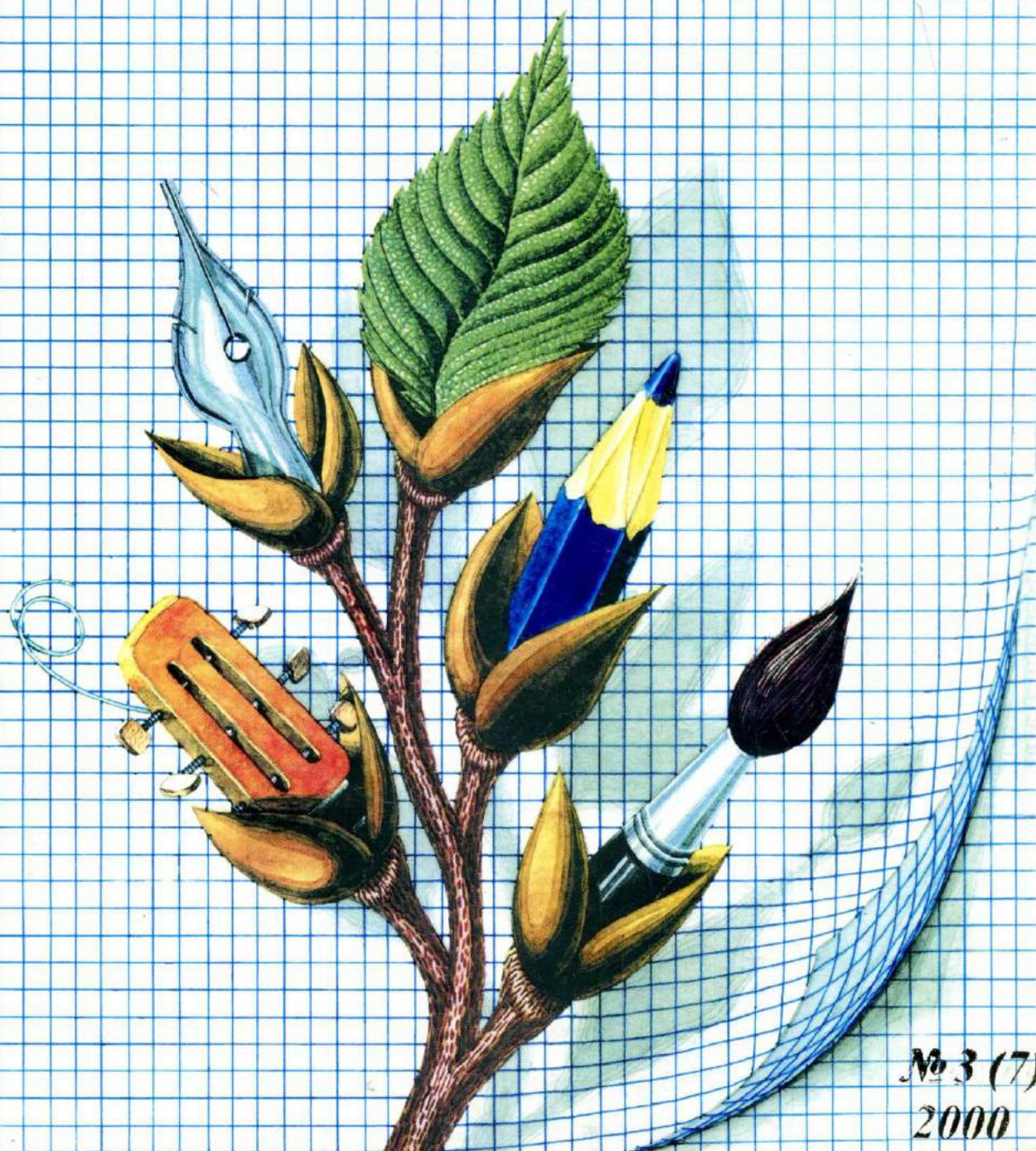


Дервоцвет

Литературно-художественный альманах для юношества



№ 3 (7)
2000

ПЕРВОЦВЕТ

№ 3 (7)

Литературно-художественный альманах для юношества

Учредитель

Областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина

Альманах зарегистрирован в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати, регистрационный номер И-0391 от 28 июля 1998 г.

Выпуск альманаха осуществляется благодаря финансовой поддержке Комитета по культуре администрации Иркутской области

И.о. главного редактора

С.В.Зубакова

Редколлегия

Л.М.Середкина

А.С.Попов

А.К.Лаптев

Л.В.Иоффе

С.И.Казанцев

В.В.Науменко

Обложка

Сергея Элояна

Рисунки в тексте

М. Завгородней

Н. Паргачевой

И. Малкина

Компьютерный набор

В.А.Попова

Верстка

В.А.Попова, С.А.Гаврилов

Адрес редакции

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10

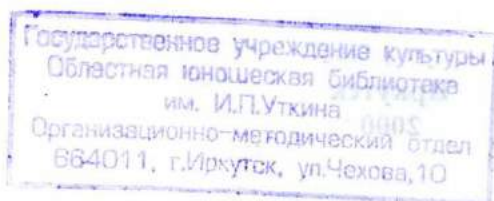
тел. 27-07-93, 20-43-01

E-mail: library@youlib.irk.ru

Иркутск
2000

Содержание

Разговор с читателем	
Александр Лаптев. <i>Нет ничего выше творчества.</i>	3
Рифмы Первоцвета	
Александр Бутько	5
Надежда Рукавишникова	6
Сергей Корбут	7
Кристина Макаркина	8
Галина Голова	8
Надежда Кинз	9
Елена Петрова	9
Миниатюры Первоцвета	
Игорь Жилин. <i>Per aspera ad astra.</i>	10
Алена Мусохранова. <i>Попрошайка</i>	13
Дарья Найденова. <i>Солнце из листьев.</i>	15
Анастасия Ефимова. <i>Проблемы.</i>	16
Александра Бояркина. <i>Драгоценные камни Вселенной.</i>	18
Александр Маджаров. <i>Связь времен</i>	19
Картинная галерея Первоцвета	
Сергей Казанцев. <i>Путь к гармонии</i>	22
Литературные объединения Первоцвета	
Поэтический клуб «Юланга» г.Ангарск	
Ксения Кочукова	23
Алена Белогрудь	23
Ольга Деребера	24
Анна Желтоногова	24
Проза Первоцвета	
Ирина Множинская. <i>Скамейка. Рассказ</i>	25
Анатолий Бичевин. <i>Исповедь Музы. Рассказ.</i>	29
Александр Турханов. <i>Катенька. Рассказ</i>	35
Фантастический мир Первоцвета	
Константин Свириденко. <i>Игрушка. Рассказ</i>	46
«Золотой фонд» Первоцвета	
Алексей Зверев. <i>Пантелей. Рассказ.</i>	51
Улыбки Первоцвета	
Александр Банков. <i>Мир – это частица. Рассказ.</i>	72



Разговор с читателем

НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ ТВОРЧЕСТВА!

Наша сегодняшняя жизнь настолько пестра и непредсказуема, настолько всё затуманилось и спуталось, что, кажется, не осталось ничего крепкого, устойчивого, за что можно было зацепиться и встать на твердую основу. Спросят иного писателя: нужны ли сегодня книги? Писатель ответит не сразу. Опустит голову и, взяв себя за подбородок, посмотрит на носки своих ботинок. Через минуту скажет: «Да бес его знает! Ты бы спросил чего полегче». Политик на аналогичный вопрос заявит, что политика – штука тонкая, противоречивая, словами невыразимая. Её, дескать, того – почувствовать надо! – и посмотрит при этом очень умно и, одновременно, загадочно. Государственный деятель также не сразу найдется, если его спросить примерно: «Чего вы здесь делаете? В какую гавань ведете корабль нашей государственности?» Деятель выпучит на вас глаза, потом подумает, что перед ним

ненормальный, затем стрельнет мысль о провокации, а кончится грозным окриком и предложением убраться вон. Это потому, что он сам не знает, чем он занимается и во имя какой высокой цели действует. С новыми русскими проще, но это на первый, поверхностный взгляд. Новый русский с ходу вам заявит, что главное – это деньги, большие деньги. Но если всерьез поинтересоваться, зачем ему большие деньги (ведь в самом деле, спать можно лишь на одной кровати, и за один раз не съешь сто бифштексов) – ничего не ответит новый русский. Дальше денег не глядит, выше «Джипа» не летает.

Так что же с нами происходит? Для чего мы тут? Что значат наши усилия и на какую цель они направлены? Или не надо далеко заглядывать, не следует поднимать голову и пытаться разглядеть дальнейший путь? Смотри себе под ноги и радуйся, что не слишком много на твоём пути рытвин,

что никто не гонится за тобой, никто не оскорбляет и не кидает камни. Правда, в соседа кидают и оскорбляют, и гонятся, но что ж тут поделаешь – такова его планида. Всех, ведь, не укроешь своим плащом...

К чему я всё это написал?.. А написал я это к тому, что уверен: все те, кто печатается в альманахе «Первоцвет», все они уже догадываются – для чего они живут, во имя какой цели действуют. Они уже нащупывают под собой твердую почву и угадывают верное направление. Направление это указывает путь духовного развития, трудную дорогу самосовершенствования и познания. Это вечно новая тропа открытий и побед над собственной слабостью, собственным невежеством. Если человек хотя бы задумается: для чего он живет? – это уже немало. Когда юный автор изливает на бумаге восторг души – это есть шаг к гармонии, не личной исключительно, но и ко всеобщей, потому что всеобщая гармония не наступит, пока не установится порядок в душе каждого человека. Когда молодой человек пытается осмыслить события вокруг

себя – он борется с окружающим хаосом. Любой рассказ – это удар по невежеству. Стихотворение – как приговор человеконенавистничеству. Каждый акт творчества, каким бы по форме он ни был, развивает светлое начало в человеке. Сегодня, на пороге XXI века мы вынуждены признать, что борьба светлого и темного далеко ещё не закончена, что силы Зла не побеждены. Метастазы мракобесия растут, как раковая опухоль. И каждый шаг Знания дается нам с огромным трудом, а прозрение сродни чуду.

Победа духа над материей – вот высшая цель! Этой цели служат (вольно или невольно) все поэты, художники, музыканты, философы и ученые, все подвижники духа. Каждый, написавший хотя бы пару строк – служит этой великой цели. Поэтому – будем творить! Ибо нет ничего выше творчества. Нет ничего благороднее творчества. И нет ничего чище творчества – истинного творчества, отмеченного печатью вдохновения и бескорыстия, искренности и сострадания – сострадания ко всему существу в этом мире.

Александр Лаптев

Рифмы Первоцвета

Александр Бутько
г. Братск

* * *

Громадная туча ползла по небесному своду,
И ветер неистово яблоню гнул до земли.
Роптали старушки в сердцах на плохую погоду,
Ломались цветы, что так пышно доселе цвели.

И дождь застучал, барабанил по ставням закрытым,
И гром прокатился, как неба раскатистый крик,
А над огородом, живительной влагой омытым,
Уже пробивался сияющий солнечный лик.

* * *

Горы надели на старые плечи
Алый сверкающий плед.
Снова над пыльной дорогою вечер
Сеет чарующий свет.

В розовых нитях вечерней накидки
Вкраплен узор облаков.
В горные цепи, как в древние свитки,
Вписана память веков.

ОСЕННЕЕ

Звенит и плачет осени гитара,
Скользят дожди по струнам золотым,
И над туманом белым и густым,
Тускнеет яркость солнечного шара.

И, разливаясь по увядшим травам,
Согреет взор рябиновый рассвет,
Пошлет свой первый утренний привет
Унылым облетающим дубравам.

Обрывки туч увешаны дождями,
Но добрый свет рыбацких огоньков
Сверкает вдоль озерных берегов
Холодными октябрьскими днями.

Надежда Рукавишникова
Выпускница Альмовской средней школы
Киренского района

ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО

Как мало нам известно
О тайне двух сердец!
Как быстро тает детство –
Волшебный леденец!
И вновь кому-то больно
И чей-то рухнул мир.
Любовный треугольник –
Площадка наших игр.
Взрослеем. Неужели?
Беспечна и нежна
Мелодия апреля и школьного звонка.
Мы прячемся, как воры,
Но жизнь не украдешь.
А наши разговоры – очередная ложь.
Взрослеем? Невозможно!
И прячемся опять.
Да, мы узнали больше,
Чем думали узнать.
Опять кому-то больно.
Разрушен чей-то мир,
Любовный треугольник...
Площадка наших игр...

ОСЕНЬ В РОДНОМ ГОРОДЕ

А в городе нашем уж осень с неделю...
И в летние дни уж никто не поверит.
И солнца осколки разбросаны в лужах –
Разбитое счастье – кому оно нужно?
И грусть отдыхает на лавочке в сквере,
И гроздья рябины недавно созрели...
Закат золотой, завершая картину,
Из тихого дождика тклет паутину.

Сергей Корбут
г.Иркутск

В КРУГУ БЕЗМОЛВИЯ

Беспредельное белое поле –
ощущение небытия,
только воля – бесспорная воля,
несусветная воля Твоя.

Испаримся мы в ней, как в пустыне
испаряются капли воды,
или, может, застынет, как стынет
выдох моря в уснувшие льды, –

все едино, бездумно, бесспорно,
так зачем же

до вешней воды
это чистое белое поле
отпечатало наши следы?

ТОЛЬКО ЖИЗНЬ

Жизнь огромна! Дань её просторам –
выси, глуби, память, времена...
Перед мысленным и перед внешним взором
только жизнь одна.

Смерти нет... Фата-моргана – символ
для уставшей странствовать души...
Так о чем ты плачешь, птица Сирия?
Что за боль першит

в певчем горле?.. Облетая с веток,
в небеса уносится листва
золотая... Неужели где-то
смыслом наполняются слова?!

ПЕСНЯ ЗАКАТА

(из текстов к спектаклю «Маленький принц»)

Небо высокое выглядит к ночи покатым –
если твои устремленья и мысли чисты,
можешь взойти по пурпурным ступеням заката
прямо под своды своей затаенной мечты.

Самое лучшее здесь нескончаемо длится.
Самое светлое здесь наполняет сердца.
Каждый дошедший становится Маленьким Принцем
из мудреца, бизнесмена иль сорванца.

Только намного труднее дорога обратно,
мало кому удается, мой Маленький Принц,
не расплескать на пурпурных ступенях заката
детскую душу в далекие блики зарниц...

Кристина Макаркина
г.Иркутск, шк. № 44, 8 класс

ЗВЕЗДНЫЙ ВЕЧЕР

Окошки под ногами светятся,
Огни, как окуни, в воде.
И в каждой лужице – по месяцу,
И в каждой капле – по звезде.

Галина Голова
с.Подъяланка

* * *

Как северным холодным летом
Тобой согрета я,
Любовной песенки куплетом
Тобой воспетая.
Ты – трубадур, слуга дорог,
Уходишь с осенью,
Забыв, шагнувши за порог,
Что кудри с проседью,
Что сходятся пути туда,
Откуда начаты,
Что на разлуки все года
Твои потрачены.
Но не хочу тебя корить
И ждать ответа,
Когда уйдешь другим дарить
Кусочки лета.

Надежда Кинз
ИГПУ, I курс

* * *

Певучее небо –
За брызгами снега.
Ты рядом сидишь и молчишь.
Ты пахнешь зимою...
Я знаю: с тобою –
Слегка встрепенишь – и взлетишь!

* * *

Вдвоем о любви не поют,
Вдвоем о любви не молчат,
А, как пред смертью, в бою,
Друг друга не слыша, кричат.
Когда-то ж мы будем вдвоем!
И пусть все исчезнет в ночи,
Давай, мы сначала споём,
Потом помолчим о любви.

Елена Петрова
ИГУ, IV курс

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Такие в мире есть места,
Куда нельзя не возвращаться,
С которыми нельзя прощаться,
Когда уходят поезда.

И я к тебе ещё вернусь,
Туманный город над Невой,
Где серебристою волною
Ласкает камни тихо грусть.

И снова сумерки придут,
И до утра решат остаться,
Чтоб в отблесках зари купаться.
Мосты, как крылья, разведут.

Дворцы застынут в полусне,
Былые годы вспоминая
Под стук последнего трамвая
На Петроградской стороне.

И камни старой мостовой
Меня узнают, принимая.
И кони Клодта, оживая,
Взлетят взъерённо надо мной.

В тот час, когда сюда вернусь,
Восстанут сфинксы с парапета,
Шагнув ко мне в лучах рассвета,
И я к ним радостно прижмусь.

Миниатюры Первоцвета

Игорь Жилин

Лицей г.Шелехова, 10 класс

PER ASPERA AD ASTRA*

*От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С лейкой и блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.*

К.Симонов

Он был таким же, как и все другие, в нем не просматривалось ничего особенного, ничего отличающего его от собратьев: такая же блестящая краска на гладкой отшлифованной поверхности стройного деревянного тела, хрупкий и чувствительный, как нерв, графитный стержень и призывный пионерский лозунг «Будь готов!» на боку.

Он думал так же, как и все остальные карандаши, мечтал о спокойной, размеренной жизни в одном из множества учреждений на столе, покрытом зеленым сукном. Впрочем, судьба могла сложиться иначе, и у него был шанс оказаться в портфеле школьника-разгильдяя, который самым непредсказуемым образом мог отреагировать на призыв «Будь готов!»... Его купил один Корреспондент.

... Мы пришли домой, он достал устрашающий походный нож и наточил меня. Так я стал частью Корреспондента. Корреспондент (или я?) писал кое-что в газеты, а в часы досуга баловался стихами. Я все это исправно фиксировал.

Все складывалось удачно, не так ли?

... Жарища в тот день была адова. Конец июня давал о себе знать. Солнце светило вовсю, в тени тоже было настоящее пекло. Дождя не было уже давно. И зачем Корреспондент оставил меня на подоконнике? Моя новенькая краска может изрядно выгореть.

Слава Богу, кажется, обо мне вспомнили! Я опять что-то пишу. Строчки рождаются очень быстро, но почему-то не увязываются в стройные рифмы. Видимо, от жары и звенящей в ушах тишины у Корреспондента болела голова. Тишина поглощала её, резала, рвала в клочья:

«Война!»

Крик раздался из соседней комнаты. Корреспондент вскочил, покинув нашу рукопись, уронил меня на пол и распахнул дверь. Может, это всего лишь показалось, галлюцинация?

Мать Корреспондента сидела у радиорепродуктора и повторяла: «Война... война...», а репродуктор сурово вещал: «Сообщение Совинформбюро: фашистская Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз...»

* Через тернии – к звездам

Шёл 1941 год.

Я знал, что Корреспондентам приходится мотаться по командировкам, но то, что нам с ним придется пережить впоследствии, я и представить себе не мог.

Все последующие события стали яркими вспышками и зарисовками, навсегда врезавшимися в память. Вряд ли возможно составить из них стройную хронологию.

... А наутро пошёл снег и покрыл белой пеленой изрытую снарядами землю. Было октябрьское утро, 7 часов.

Я снова оказался на своем месте рядом с уже изрядно потёртым походным ножом. Можно ли наш рейд было назвать походным? Или паломничеством? Нет, наверное, это был просто большой и сильно затянувшийся крестовый поход, как в страшном сне. День был, как все остальные до него. Я из своего кармана видел вряд ли меньше, чем любой другой идущий рядом солдат.

Предательски светило солнце, и выпавший снег ослепительно сверкал. Когда-то Корреспондент писал про швейцарские Альпы. Там никогда не тает снег. Он всегда ослепительно сверкает.

... Ужасно трясло: все куда-то бежали; ежесекундно гремели выстрелы. Кто-то сильно толкнул Корреспондента, и мы упали в грязь. Дальше пришлось продвигаться ползком. Над головой повсюду сверкающие пули – это было убийственно захватывающее зрелище. Парад планет. Они летали, как звезды на чистом небе.

Внезапно откуда-то спереди раздался крик: «звезда» ужалила солдата в живот. Корреспондент подскочил к нему и звал на помощь, но никому не было до нас дела: атака. Он вытащил нож из кармана, а вылетел вместе с ним. Резкими движениями дрожащих рук он располосовал куртку раненого и из получившихся полосок соорудил повязку, которую тут же накрутил ему на живот. Я очень удивился его сноровке, и поэтому до

меня не сразу дошло, что я потерялся в одной из луж.

Но знакомая уверенная рука все-таки выудила меня из мутной и грязной воды. Кажется, все уже кончилось. Пришло ниоткуда и ушло в никуда. Кажется, что ничего и не было. Стояла гробовая тишина.

Эта тишина была то угрожающей, то долгожданной на протяжении четырех лет. События менялись, как в киноленте. Судьба забрасывала нас с Корреспондентом то на линию фронта к принимающим на себя первый удар пехотинцам, то в ненадежную воздушную стихию к экипажу бомбардировщика, то в черноморские глубины к морякам-подводникам, стремившимся на свой страх и риск в тыл врага...

И вот, наконец, мы в Европе. Май 1945 года.

... Мы подъехали к Берлину, и перед нами предстала ужасающая картина: было такое ощущение, как будто кто-то играл в кости, только вместо костей в гигантском стакане были машины, танки, броневики, которые там тщательно кто-то взболтал и выбросил прямо на лес. Это был настоящий Хаос: Содом и Гоморра вместе взятые. Всё смешалось, как в тексте, а начинкой, видимо, служили человеческие тела...

Все это уходило в бесконечность и где-то вдалеке, за линией горизонта, сливалось с небом. А разрезала все это дорога, уже частично расчищенная, если, конечно, не считать испещривших её ямок.

В самом городе царило спокойствие. Тихо раздавались отзвуки далеких последних схваток с отрядами СС, не принявшими капитуляции.

Заходим в бункер. Навстречу ведут пленных. Конвоир говорит, что на четвертом этаже застрелился генерал. Взламывали дверь, а он взял и просто застрелился.

Рейхстаг. К нему идут сотни и тысячи людей, сотни тысяч людей. Все страшно измотанные, с неизгладимой скорбью в

глазах. И тихим маршем звучат выстрелы немецких пулеметов, доносящихся из-за реки.

Аллея Победы. Везде трупы. Мы попали в какое-то царство мертвых. Мертвых людей и мертвых машин.

Имперская канцелярия. Кабинет Гитлера поврежден бомбой и завален обломками. Весь мой уже короткий стержень изрядно перекручивается при мысли о том, что я мог бы работать в этой канцелярии.

Корреспондент идет в какую-то комнату рядом. Говорят, кабинет Бормана. Как будто после обыска. Все полки перерыты, их содержимое раскидано на полу. Похоже на ураган мелкого масштаба, начавшийся где-нибудь на полке с бумагами и локализованный в письменном столе.

Этот ураган перевернул всё вверх дном, и то, что было на дне, упало на пол.

Вот, мы, наконец, и ворвались туда, откуда осуществлялось командование немецкими войсками.

Но не было чувства торжественности, радости достижения своей цели, было только какое-то ощущение измотанности, моральной и физической. Не было страха, не было жалости. Не было сил верить в конец Войны.

К тому времени Корреспондент начал превращаться в Писателя: он все меньше писал в газету репортажей и все больше работ, которые сошли бы за черновики будущих романов.

... Подписание капитуляции происходило в Карлсхорсте, в актовом зале инженерной школы. Царило всеобщее оживление. У Корреспондента дрожали руки, и он несколько раз чуть не выронил меня. Яблоку было негде упасть, а вот такая жизненно важная вещь, как карандаш, могла спокойно потеряться. Пройти всю Войну и потеряться в месте подписания акта капитуляции — бестолковая смерть.

Никто не знал, плакать или смеяться.

Когда в зале успокаивается нервное жужжание кинокамер, угрюмый маршал встаёт и говорит:

— Введите немецкую делегацию.

Полную тишину нарушает только скрип сапог фашистских генералов. На их лицах ничего не написано. Они проиграли. Можно ли это назвать Игрой? Это была игра с Дьяволом, игра, в которой... Впрочем, это не было игрой.

Они садятся. Пока представители стран подписывают документ, один из немцев все сильнее сжимает перед собой кулаки, а голову запрокидывает всё выше, стараясь совладать со слезами унижения...

— Германской делегации предлагается подписать Акт о безоговорочной капитуляции.

Русский маршал вновь встает:

— Германская делегация может покинуть зал.

Те трое встают и выходят, двери закрываются.

И сразу какая-то волна облегчения прокатывается по залу: как будто все держали на плечах невероятно тяжелую гору, и она внезапно исчезла. Годы горя и бед, лишений и утрат, потерь миллионов жизней и сотен миллионов душ завершились. В Победу верили все!

Война закончилась.

Оцепенение сменилось оживлением, все как-то задвигались, зашевелились — к нам вернулась жизнь.

На улице стояли сумерки. Солнце уже закатилось, толпа из дверей хлынула на воздух. Корреспондент на с трудом слушавшихся ногах вышел в числе последних.

Эти сумерки были прекрасны и отталкивающе-отвратительны. Развалины четко очерчивались на фоне темного неба. Кое-где уже всплывали звезды.

Звезды ничего не говорили. Они были похожи на навсегда замершие сигнальные ракеты.

Корреспондент осмотрелся, глаза его привыкли к темноте, он достал блокнот, и

я думал, что он опять будет писать, а он вместо этого...

... размахнулся и закинул меня далеко в руины, я упал на какие-то раскрошенные кирпичи, а он повернулся и пошел, так ни разу и не оглянувшись...

На далеких немецких руинах валялся маленький огрызок простого карандаша. Надпись «Будь готов!» была давно сточена и стёрта вместе с восклицательным знаком.

Немой свидетель произошедшей трагедии, ставший невольным проводником мысли от человека к бумаге, остался лежать под необъятным небом.

Конечно, карандашу, как и кому угодно, не понравилось быть выброшенным за ненадобностью. Но, может быть, он остался благодарен судьбе за то, что вместо цифр и отчетов о проделанной за пятилетку работе он фиксировал строки талантливого Корреспондента, Писателя, Поэта.

... На небе ярко светила луна, звезд было много, все одинаково далекие, светящиеся точки. Они ничего не говорили, а если бы и могли сказать, то донесли бы это только через тысячи лет.

Алена Мусохранова

Выпускница школы № 18, г.Иркутск

попрошайка

*Снег на ботинках,
во взгляде сплошная
неправда*

Земфира

Я выскочила на улицу по своим делам, очень легко одетая: пальто, как и душа, и мысли – нараспашку... А там, оказывается, меня ждал Он. Подлетел ко мне, начал целовать, едва прикасаясь, глаза, руки, припадая к ногам. Говорил: «Пусть жалкий и вмиг умирающий, я пришел, чтобы поднять тебе настроение, я буду очень мил и нежен, только разреши мне кружить возле тебя, касаясь ресниц, быть слетевшим у тебя с ботинка. Только разреши! Небо простит тебе грехи, все вокруг станет белым...». Это звучало довольно убедительно, но я не могла не съязвить: «... Ну да, станет белым и мокрым, мокрым и грязным». Однако мое настроение с треском и стуком в висках набирало высоту.

Как оказалось, Он пришел не один. С ним – его приятель. Он мне сразу очень понравился. До этого момента я часто его видела, наблюдала за ним. У него красивые волосы и загадочные глаза.

Сейчас он был «в ударе», перебирал слова весело, удачно юморил, вписывался в мое настроение. Но я – в своем репертуаре: «Может, ты тоже хочешь чего-то попросить?». Он не обиделся на меня... обнял, утопив крепкие руки под расстегнутым пальто. Надо признаться, он очень мил, приятель попрошайки.

Небо простит мне грехи, все мои грехи, если я с ним не расстанусь? Ну что же, дельное предложение.

Я согласилась – они мне нравятся, хорошие ребята.

И я рассказываю вам об этом для того, чтобы похвастаться: у меня теперь новые друзья Снег и Ветер.



Н. Паргачева,
выпускница Иркутского худож. училища
Педагог А.С. Щипицын

Государственное учреждение культуры
Областная юношеская библиотека
им. И.П. Уткина
Организационно-методический отдел
664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10

СОЛНЦЕ ИЗ ЛИСТЬЕВ

Часть 1

У России был город. У города было имя – Иркутск. У Иркутска были дома. В одном из них совершался ремонт. Ночью из него бежали крысы, а утром люди открывали железную от злобы дверь и выплескивались теплом в не проснувшийся холод. Шли куда-то, молчали, думали, уставали и, приходя туда, откуда вышли в поисках жизни, закрывали глаза и отдавались снам: сначала отдавали конечности, позже – туловище, отдавали даже душу, но голова человека всегда покоилась на подушке, чмокая черную вуаль сладкого ночного воздуха...



Рано утром меня выкинуло в подворотню. Все рухнуло на мое сонное тело, которое вдруг стало прозрачным и звонким стеклом, трезвым, как рука старого палача.

Дорога моя лежала через петляющие длинные каменные чулки, укрытые от неба деревьями. Дорога вела в лес...

Стеклянное тело, несущее на себе целый мир, оглядываясь, робко прогоняло оловянную тень, но она, исчезнув на долю времени, возвращалась назад... Тело было почти прозрачным, но тень выдавала его. Я была замечена.



Три года меня кидает в холод от их имени; три года я тщетно пытаюсь убежать от них, но они повсюду бегут за мной. Стоит только выйти во двор – и они тотчас прилипают ко мне; как только я ускоряю шаг, они идут за мною быстрее, а когда начинаю бежать, тут же настигают меня.

Недавно они встретили меня в автобусе, впервые взглянули с улыбкой и сказали, что я – есть они – и должна вернуться в их стаю. Я ответила, что как-нибудь в другой раз, потому как у меня много дел. Они были очень недовольны и вернулись на небо. Люди зовут их облаками... Мы встретились опять, и они последовали за мной в лес.

30 августа 1999 г.

Часть II

– Купи туалетную бумагу, хлеб, рыбу, молоко и любую крупу, – сказали они, наклонившись над моей кроватью...

– Просыпайся и иди на рынок. Деньги в хлебнице, – добавил все тот же хор.

Не открывая глаз, я ухватилась за кончик сна и держалась, пока не хлопнули дверью и не спугнули грохотом эту дивную птицу. Пришлось проснуться.



Я вышла из дому. Ноги мои утопали в серебряных листьях, а лицо задышалось от поцелуев осени и ледящего облака.

Рынок был в трех днях от меня и, перешагнув через всех прохожих, я уже стояла перед открытыми воротами.



В голове скользили слова: туалетная бумага, хлеб, рыба, молоко и крупа; я судорожно искала все это, и между рядами увидела птиц, рыб, собак и кошек, но вдруг поняла, что мне нужна клетка.

Хор навечно приставлен ко мне, чтобы прогонять мой сон и оставлять меня оплеванной утренней грустью. А если я

купила клетку, то никогда меня не покинет моя дивная птица, потому что я посажу её за прутья и буду кормить сказками.

Дайте мне, пожалуйста, вон ту... самую маленькую...



Денег не осталось совсем, зато остались трубка и огонь. Я набила её воспоминаниями, грядущими днями,

смочила слезой и поднесла к ней пламя; вдохнула и выдохнула дым, который ленточкой уносился вперед.

Дым привел меня к незнакомому дому. Дом венчался лестницей, мгновенно покрывшейся моими шагами.

Дверь была заперта...

29 сентября 1999 года.

Анастасия Ефимова

г.Иркутск, студентка ИГЛУ

проблемы

С самого утра Даша готовилась к тому, что сегодня она расскажет Оле всё. Всё это, то есть обо всех этих проблемах. Весь день она обдумывала каждую мелочь, каждую деталь, каждое слово, каждый жест, а под вечер даже всплакнула над судьбой. Подумать только, ей уже 13, нет, скорее, всего 13, а у неё столько неразрешенных проблем. Как же она одинока, как же несчастна! Такие мысли не покидали её ни на минуту, таким образом она накручивала себя с 10 часов утра до 6 часов вечера. В 6 часов вечера Даша вдруг вспомнила, что ещё не завтракала, правда, за этими проблемами она не заметила, как съела целый таз свежей бабушкиной выпечки. И вот, наконец, после завтрака, обеда и ужина Даша собралась и отправилась к 8-ми часам вечера на откровенный разговор.

Стоял теплый, даже жаркий, июльский вечер. На улицах то и дело туда-сюда сновали, надоедливо вглядываясь в Дашино лицо, любопытные люди, что очень Дашу раздражало. Про себя она ругала их всякими неприличными словами, а им только премиленько улыбалась. Так что все думали, какая Даша хорошая

девочка. И вот, наконец, нужный дом, подъезд, квартира. Затем знакомый голос спросил: «Кто?» На что Даша подавленно, насколько она могла, ответила: «Я». Переступив через порог, она спросила: «Ты одна?». И, услышав положительный ответ, сделала ужасно страдальческое лицо и зарыдала. «Ну, пойдем, пойдем», – заботливо сказала Оля и, обняв её за плечи, повела в зал. Усадив подругу на диван и сунув ей чашку чая, Оля принялась расспрашивать со взрослым всезнающим видом о том, что у Даши стряслось. На все Олины вопросы Даша неизменно отвечала, что она очень-очень несчастна, а между делом лопала шоколадные конфеты. Наконец, Оля спросила: «Так что у тебя за проблема?», – и с этими словами она забрала уже почти пустую коробку из-под ассорти. Даша с жалостью посмотрела на половину шоколадной конфеты, что была у неё в руке, и сказала:

– О, у меня совсем всё плохо!

– У меня тоже, – ответила с чувством Оля.

– Нет, ты не понимаешь, похоже это конец! – глотая остаток конфеты, сказала Даша.

– Нет, я отлично всё понимаю, – ответила Оля и приняла такой вид, будто она, действительно, всё знала и понимала. – Я давно хотела тебе рассказать...

– Нет, нет, помни: это я несчастная, это мне плохо! – почти выкрикнула Даша.

– Но у меня ещё хуже, просто хуже не бывает! – в ответ прокричала Оля.

– Нет, бывает, мне настолько плохо, что я уже почти умираю.

– А я уже почти умерла, – с чувством собственного достоинства прошептала Оля.

– А я просто не могу.

– А я, а я..., – не успев договорить, зарыдала Оля, как потерянный ребенок.

Посмотрев на подругу, Даша поняла, насколько они несчастные люди, и с этой мыслью она почувствовала, что тоже должна плакать.

Так они, обнявшись, проплакали целых 15 минут, и неизвестно сколько ещё бы проплакали, если бы не зазвонил телефон.

– Алло, – сказала Оля. – Ой, Олег, это ты? Какая радость! – Девочки в один миг, как по команде, вытерли слезы.

– У меня, у меня все отлично, ты же знаешь... У Даши? У неё тоже все «о' кей».

– Да, подожди... А? Это не тебе, Олег... что говоришь? В кафе? Конечно, пойдём! Когда? Прямо сейчас? Ну, хорошо! У входа. Ладно. Жди, ша будем...

ОПАСНАЯ СИММЕТРИЯ

Представьте: проснувшись утром, Вы обнаружили, что мир стал абсолютно симметричным. Симметричные улицы, дома, кошки, собаки, птицы, деревья, цветы, облака, солнце и даже Вы сами стали симметричны...

Давным-давно подруга рассказывала мне о том, как один ученый доказал, что за несколько часов до смерти человеческое лицо становится абсолютно симметричным.

ТЕТЯ ЗИНА И ТЕТЯ ГЛАША

В одном маленьком городке жили тетя Глаша и тётя Зина – так звали их местные жители. Тетя Глаша была домохозяйкой и часто ходила в продуктовый магазинчик, в котором работала тетя Зина. Они не были подругами, но очень хорошо знали друг друга, а их общим любимым занятием были споры, которые частенько доходили до того, что они оскорбляли друг друга нецензурными словами на весь магазин.

Обычно это начиналось так: тетя Глаша приходила поглядеть на цены и просто, от нечего делать, начинала обвинять тетю Зину во всех «смертных грехах» – в том, что цены опять повысили, а её муж до сих пор не может получить

зарплату за прошлый месяц, что Явлинский не прошел на выборах, что на улице дождь, и так далее, и так далее. Возмущенная тетя Зина тут же начинала контратаку, и так слово за слово, оскорбление за оскорблением... На цирковое зрелище собиралась большая толпа зевак, а вечером муж тети Глаши, возвращаясь с работы, забирал из магазина разъяренную жену.

Но однажды тетя Глаша пожелала тете Зине смерти... Через несколько дней на дверях магазина появилось объявление: «Требуется продавец».

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ ВСЕЛЕННОЙ

Этюд-ощущение

День кончается, как все дни в жизни человека...

В нашей деревне давно стемнело и стоит хрустальная тишина, лишь благородный терьер Нептун своим басом вызывает нас на воздух пофантазировать под смеющимися звездами...

Как гениальна роскошь ночного бархата листвы, как сочен удушливый теплый запах испарений травы! И кажется, что идешь по букету роз, нежно обнимающих твои ноги.

И вот мы вошли на широкую, пересеченную шероховатыми хвостами деревьев, тропинку. Совсем немного осталось идти, одно мгновение – и мы будем наслаждаться невинностью и теплотой звезд...

Ещё, ещё немного, ещё один спуск, и наконец, подъем все выше и выше, выше, ещё выше, ещё выше, и вот – безграничное поле васильков и анютиных глазок! И в тебе поднимается, выпрямляет спину, вырывается к звездам крик восхищения живописью ночи. И ты

оставляешь все земное, покидаешь на мгновение себя, остается лишь воспевание природы. И становится стыдно, совестно перед цветком, что его – чудо! Боже, какое чудо! – ты предпочитаешь человеческим глупым проблемам. А какие у нас проблемы?!

У нас есть вечные, верные друзья – небо, Земля и звезды, мы – счастливики!

И вот бросаемся на изнеженную колыбелью ветерка траву и поддаемся ритму восторга перед таинством природы. В этот момент ты – травинка, камешек, влюбленный, частичка Вселенной, твои глаза так же, как стрелочки травы, устремлены ввысь, туда, откуда доносятся до нас искры счастья. Ты начинаешь всматриваться в одну из тысячи звезд, которая отливает розоватым цветом. И кажется, что баловница подмигивает тебе, радуясь твоему вниманию.

А ты вздыхаешь, улыбаясь, не зная чему, но зная точно, что что-то или кто-то тебе ответит так же!



СВЯЗЬ ВРЕМЕНИ

Что было, то и будет

Книга Екклесиаста, 1,9

Мужчина лет сорока-сорока пяти – молодой человек – так к нему обычно обращались незнакомые дамы, наверное, из-за отсутствия в русском языке более подходящего обращения, а может быть и потому, что действительно считали его молодым, возвращался с далекого берега озера в поселок. Он вдыхал воздух взвешенно, как тянет дым изголодавшаяся курильщица, дорвавшись до сигареты, хотя был некурящим горожанином, просто успевшим забыть за зиму о натуральном воздухе. Одетый, как дачник, то есть по-городскому, в крепкие башмаки на толстой подошве, черные джинсы и новую теплую куртку, излишне теплую для текущего момента – с учетом особенностей переменчивой местной погоды и каменистого пути, он не был похож ни на местного жителя, ни на пестрого туриста, из тех, что немало проходило летом мимо поселка.

Был вечер. Один из тех, знакомых, наверное, каждому, кто бывал дальше Листвянки, июльских вечеров у Байкала, безветренных, теплых, дурмящих запахом черёмухи и брызнувшей по горам и долам зелени, оттененной розовым багульником, блестящей в лучах уходящего солнца и полонившей пространство, словно на картинах Анатолия Аносова. И если вам когда-то доводилось почувствовать глубокую взаимосвязь этого неповторимого цвета, запаха и своего «Я», переполненного омо-

лаживающей субстанцией, ощутить беспричинную, щенячью радость, вспомнить забытое восприятие времени, в котором нет прошлого и будущего, а есть только настоящее, то поймете, что это и было, конечно, в один из таких вечеров.

Солнце уже почти завершило свой обычный путь и расположилось у кромки гор, аккуратно отдавало положенную норму света, словно неторопливая хозяйка, переливающая остатки молока из ведра в трехлитровую банку. Истончался и день. От прикосновений и ударов сотен и тысяч камней, чувствительных даже сквозь толстую подошву башмаков, сердце ходака, казалось, переместилось в ступни ног и билось там, и рвалось оттуда, словно пойманный и запертый зверек. В голове ещё продолжало звенеть от шума ручья, а от обжигающего солнца и многоцветного моря, превращающих лица людей, обитающих близ него, в бронзовые лики отшельников, а, главное, от завораживающих кивков поплавок, слегка рябило в глазах.

Он медленно спустился с рукотворного откоса, с той его невысокой стороны, которая была обращена к поселку, и, миновав ещё метров двадцать по рукаву проселочной дороги, оказался у подошвы глубокой пади, которая в разрезе напоминала плоскость прозрачной, поставленной на вершину основанием вверх, пирамиды без дна.

За спиной осталась горизонтально уложенная лента, покрывающая насыпь, с двумя черными продольными полосами рельсов и черными дырами туннелей, уходящая в обе стороны вдаль и там сливающаяся в нитку. Стиснутая между Сциллой и Харибдой – скалами и облизывающим, а то и вгрызающимся в насыпь с противоположной стороны могучим озером, она в любой момент могла быть разбита обрушившейся скалой или провалиться в промоину.

Он шел к ручью, который разделял поселок на две половины, чтобы, миновав его, выйти к Полхашке – распадку, уходившему вправо от широкой, протяженной и наиболее населенной пади-Баранчика, и подняться по его склону на гору. Подойдя к бетонной плите, перекрывавшей ручей, путник инстинктивно повернул голову влево и заглянул в сердцевину пирамиды, как делали обычно все гости, ибо именно здесь располагалась основная часть селения и каждого, кто проходил поселок у истока, невольно тянуло посмотреть туда, в центр. Только мотивы его интереса, если бы он сейчас попытался определить их, не исчерпывались простым любопытством.

Вдоль склонов гор расположились уходящие вглубь распадка деревянные почерневшие от времени большие – на четыре семьи – дома, покрытые железом той же масти, напоминавшие огромных, нахохлившихся птиц, облюбовавших лучшее место для отдыха и оставшихся здесь навсегда. А дальше, за ними пристроились дома помельче.

Здесь не было времени. Годы, тысячелетия словно прошли мимо, ничего не коснувшись: домов, склонов

сопок, клочками расчищенных под огороды, окаймлявшего их леса – мрачного, серого в непогоду, праздничного, манящего трепетным шелестом осины на ветру – в теплый, солнечный день. Оно не тронуло бабушек у магазина, которые были бабушками всегда, насколько хватало памяти: в черных, похожих на бархатные, новых телогрейках, невесть когда и где приобретенных, и пестрых платках, подвязанных под подбородок; мужиков и баб в застиранных робах – любимой одежде местных жителей обоего пола – спецодежде, которую когда-то выдавали рабочим, сохранившейся у них со времен ударных пятилеток.

Его взгляд упал на первый из домов. Иначе и быть не могло, ибо этот дом был едва ли не главным сюжетным элементом живописного, хотя и реального полотна. Он открывался взору сразу весь целиком, по крайней мере, открывались все его видимые детали и, вместе с тем, ясно была видна существующая как бы отдельно от целого каждая его деталь – крыша, печные трубы, фасад, веранда, крыльцо.

Новая зрительная связь окончательно замкнула его в свою тонкую, трепетную сферу. Он вдруг ощутил утраченное, словно текущий момент, но не как ученый, со стороны, не рационально – головой, ибо рационально этого ни понять, ни охватить было невозможно, а иным, непонятным ему самому чувством. Его нельзя было назвать ностальгией – описанием трепетного отношения к прошлому, которое изначально присутствовало в подсознании, но, как фон, и не касалось последнего мгновенья. Не являлось оно и

сегодняшним взглядом на вчерашнее – ретроспекцией – потому, что в нем не было замешано настоящее, ибо и настоящее – от новой реальности – точка отсчета. Ощущение было ярким, подлинным. Но подлинным ощущением навсегда утраченного родного пепелища, словно в это мгновение произошло действительное подключение своего изжитого, давно стоптанного детского «Я» к тому человеческому и природному полю, которое витало здесь лет тридцать тому назад, а потом, постепенно деформируясь, изменяясь, выветриваясь, теряя свою духовную плоть – вписанные в повседневную жизнь неповторимые человеческие чувства, отношения, навсегда ушло. И вот теперь эта невидимая ткань, жизнь которой казалась не более долговечна, чем след залетного дуновения на тихой воде, знакомым лоскутком, в котором все цвета и орнаменты давно и тщательно подобраны, нечаянно соскользнув с бельевой веревки, легла на видимое и невидимое пространство его взгляда. Вернулось все: ощущение тепла от того, что где-то рядом хлопочет молодая чернобровая красавица-мать, грустный взгляд флегматического друга Шурки, широко раскрытые глаза крохи сестренки, в белоснежной панамке спешащей навстречу брату, улыбка гордой девочки Лиды...

Невостребованные, замкнутые в тесное пространство памяти, спрессованные образы застилали глаза...

*На дне барака
Взвывает собака,
Музыка Баха накроет волной,
Жизнь паутиной,
Горькой слезинкой,
Знойной лезгинкой
Скользнет пред тобой.*

В этот момент он ощутил легкий хлопок по плечу. До него донеслись, как из-за стены, странное то ли хрипение, то ли бульканье и затем – слова, возвращение к действительности:

– Земляк, а земляк, будь другом, дай на бутылку. А? Душа горит.

Говоривший на мгновение замолчал, словно замялся, и добавил:

– Давай, пойдем ко мне, выпьем, я тебе на гармошке сыграю. А?

Обернувшись в сторону автора монолога, он увидел перед собой кудлатого, седого мужика, одетого в рваную телогрейку на голое тело, напоминавшего пожилого беса, который только что вышел на дорогу прямо из преисподней, слегка заgrimировавшись под человека, но беса не злого, а доброго.

Перед ним, олицетворяя прошлое и настоящее, стоял одноклассник Вовка Морозов.



КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ПЕРВОЦВЕТА

ПУТЬ К ТАРМОНИ

Иркутск по праву считается центром художественной культуры Восточной Сибири. Духовную жизнь города сегодня уже трудно представить без старейшего учебного заведения – Иркутского художественного училища, которому в этом году исполняется 100 лет.

Много талантливых выпускников вышли из стен этого учебного заведения, среди которых есть и Действительные члены Академии Художеств, народные и заслуженные художники России.

И сегодня в его стенах учится немало талантливых, преданных выбранному пути студентов. Среди них – и Артем Кириллов, сибиряк, родом из Ангарска, с отличием окончивший детскую художественную школу. Уже тогда у него зародилась заветная мечта – стать художником. В 1997 г. он поступил в художественное училище. И с первых же дней учебы проявил себя не только как способный, одаренный ученик, но и как талантливый молодой художник, которому присущи вдумчивость, цепкость и острота в передаче окружающих его образов.

А. Кириллов, несмотря на его внешнюю жесткость и прямолинейность, в душе – лирик. И потому не случайно его любимый жанр в живописи – пейзаж.

Как только наступает весна, появляются первые проталины, Артем берет этюдник, краски, холст и едет на природу создавать свои новые произведения.

Особенно удачно у него получаются камерные, небольшие по размерам, но глубокие по смыслу и содержанию, а так же образному строю, работы.

Лучшие из них: «Старая Ангасолка», «Мостик», «Олха», «Иркутский дворик». Они отличаются тонкими, лаконичными цветосочетаниями, серебристо-мерцающим колоритом, завораживающей игрой красочных переливов и сложных фактур. Недаром из всех русских художников Артем больше всего ценит В. Серова, К. Коровина и В. Сурикова.

В творчестве Артёма Кириллова присутствуют эмоциональная напряженность, декоративность; порой форсированные цветовые и тоновые отношения определяют и импрессионистический пафос его работ.

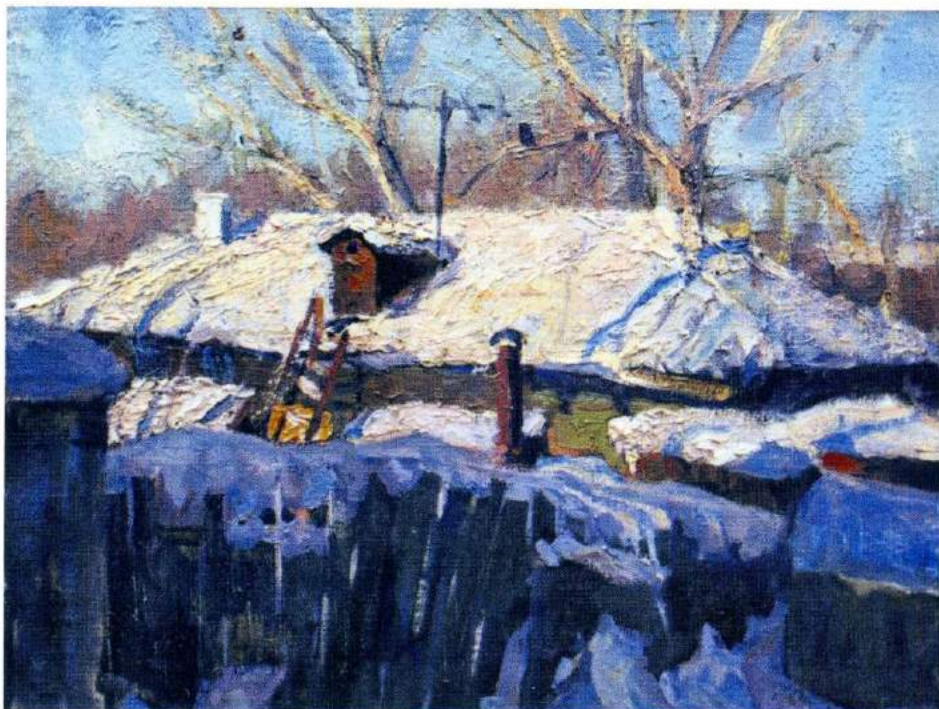
Артем – натура многогранная, артистическая, он может сыграть и перевоплотиться во всевозможных персонажей, героев, которые в дальнейшем, думается, могут найти свое отражение в его творчестве.

По итогам 1999 года за отличную учебу и творческую деятельность Артему Кириллову была присуждена стипендия Министерства культуры Российской Федерации.

Конечно, ещё очень рано говорить об Артеме, как о сформировавшемся художнике, нашедшем свою творческую стезю и жизненное кредо, он еще молод, мечтает продолжить обучение в художественном ВУЗе, на это потребуется очень много времени и колоссального труда. Но у него есть главное – мечта стать настоящим профессионалом-художником, к которой он день за днем неутомимо стремится.

Сергей Казанцев*

* Казанцев Сергей Иванович - заместитель председателя Союза художников по работе с творческой молодежью, преподаватель Иркутского художественного училища



А. Кириллов.
"Иркутский дворик", 2000 г., х.м. 40x50



А. Кириллов.
"Мостик", 1999 г., х.м. 40x50



А. Кириллов.
"Старая Ангасолка", 2000 г., х.м. 40x50



А. Кириллов.
"Олха", 2000 г., х.м. 40x50,5

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ГОСТЯХ У ПЕРВОЦВЕТА

*Поэтический клуб «Юланга» г.Ангарск
Руководитель Н.Кудашкина*

Ксения Кочукова
Гимназия № 1, 10 класс

Я верю в себя

Я верю в себя,
Я верю в успех.
Я верю, что утро
Настанет для всех,
И солнце взойдет,
И придет новый день,
И ночи исчезнет
Гнетущая тень.

Алёна Белогрудь
Выпускница шк. № 29

* * *

Тишина. Ночь спустилась на крыши.
Дремлет город, опутанный тьмой.
Но меня беспокойною мышью
Ждет бессонница с вечной игрой.
Предстают предо мною виденья,
Исчезают, зовут за собой,
Мысли, рифмой мелькнув на мгновенье,
Исчезают, воруя покой.
В тишине этой, странно манящей,
Я бумагу ищу и перо,
С крыш слетаются строчки звенящие
В не закрытое шторой окно.
Я пишу. И уже мне неважно,
Что получится – повесть? Рассказ?
Я пишу. Освещает бумагу
Мягкий свет, что струится из глаз.
Я пишу, упиваясь мгновеньем,
Опасаясь его потерять.
Мысли плавно, беззвучно ложатся,
Заполняя собою тетрадь.

Ольга Деребера
Выпускница шк. № 11

* * *

Колючие, мороженые льдинки
Сковали руки, щеки. А душа
Закоченела, требуя починки
Снаружи и внутри. И, не дыша,
Стою я у окна и грею руки.
Глаза, завидев яркий свет огня,
На миг вдруг исключают дрожь и звуки,
Толкая в его сторону меня.
Но сердце вновь я мучаю вопросом:
«А как же душу мне свою согреть?»
В костре ведь ей, не выдержав износа,
Придется полыхнуть и ... умереть.

Анна Желтоногова
Реабилитационный центр

Дорога

Лентой извилистой вьется дорога,
Рядом идут и печаль, и тревога.
Ровной стрелою легла магистраль,
Радость по ней устремляется вдаль.
Какую же выбрать из двух мне дорогу?
Зачем догонять мне печаль и тревогу?
Мне б радости взять хоть немного с собой,
Чтобы в душе воцарился покой.

Мелодия души

Сыграю я мелодию,
Мелодию души,
Пусть жизнь, судейка строгая,
Послушает в тиши.
И будет в той мелодии
Вся боль моя, тоска.
А жизнь вздохнет тихонечко:
– Неужто, так горька?
Во мне ведь столько радости,
Дерзай! Твори! Мечтай!
Ты и в минуту слабости
Меня не проклинай.

ПРОЗА ПЕРВОЦВЕТА

Ирина Множинская

СКАМЕЙКА

Рассказ

– Э-эх, старушка! Нет, ты послушай, что эти, там, наверху, удумали. Они считают, что мы с тобой – рухлядь, портим своим видом «настроение отдыхающих граждан». Да что они понимают?! Мы, может, покрепче иных молодых.

Петр Иванович все более распалялся от обиды и своих собственных слов. Его тяжелая от мозолей ладонь гладила шершавые, страдающие старческим скрипом, с пятнами облезлой краски, ребра полуразвалившейся Скамейки, спрятанной в самом потаенном уголке парка. Нужно же было кому-то из чиновников забрести сюда и наткнуться на «доисторическую древность». Старый дворник искренне сожалел о решении «ликвидировать скамью, утратившую потребительский вид». Шутка ли. Она уже была, стояла в тогда ещё молодом парке, когда безусый парнишка нашел здесь работу, сначала «доктором качелей-каруселей», а потом, под старость – дворником. Года летели, а Она продолжала стоять в парке под стареющими деревьями как символ незыблемости. Поэтому Петру Ивановичу казалось, что Его и Ее судьбы давно слились воедино. И Ее «ликвидация», это начало и Его конца.

Тяжко вздыхая, дворник поплелся вслед за своей метлой по многочисленным дорожкам парка, продолжая сетовать на тяжкую долю.

А Она, едва слушая мелодию его слов и не понимая их смысл, продолжала грезить о былом. Давно уже не замечала нынешних дней, прошлое прочно жило в дряхлом теле, и лица давно забытых людей вновь всплывали из потайных уголков памяти.

Много, очень много посетителей было у Нее за всю жизнь. Приходили и старики, и молодежь, и дети, и мамочки с колясками. Большая часть их не оставила о себе каких-либо воспоминаний. Но были немногие, которые вдавили такой глубокий смысл в Ее душу, что Она вновь и вновь мысленно возвращалась к ним.

... Белоголовая девочка часто бегала к Ней, садилась на Ее крепкие деревянные колени и подолгу читала книжки или задумчиво смотрела куда-то вдаль. Шли годы, девочка становилась старше, книги – толще. А однажды она пришла не одна, – такой же белоголовый мальчик робко ступал за ней. Вдвоем они сидели вечерами на своей заветной Скамейке, целовались. В один из таких вечеров мальчик

вырезал имя девочки на деревянной спинке. О, как Она была счастлива за свою девочку! Как гордо несла ее имя навстречу всем остальным посетителям, словно говоря им: «Вот, завидуйте! Моя крошка счастлива!» А по ночам Она тихонько шепталась с залетным ветром о том, что такое счастье. Девочка доверяла Скамейке чувства и мечты, ласковыми пальцами глядя Ее зеленые ребра. Потом внезапно и мальчик, и девочка исчезли на несколько дней. Тоскливо и утомительно ползли часы ожидания. Через трое суток печальная девочка пришла и устало опустилась на Скамейку. Если бы кто-то знал, как в эту минуту Она хотела помочь своей гостье, но, увы, бетонные руки были непослушны. Девочка нехотя, словно сквозь завесу боли, вскрыла конверт и стала глазами собирать бисеринки букв. Уронила письмо, закрылась ладонями и долго плакала, обжигая слезинками кожу Скамейки, которая невидимо рыдала вместе с пришелецей. Вдруг девочка очнулась и пилочкой для ногтей стала рвать тело Скамейки, пытаясь выцарапать с Ее поверхности свое имя. Пилочка сломалась. Девочка вновь расплакалась, и, подняв и изорвав письмо, убежала из сада. Больше Скамейка Ее не видела.

... Как часто плакал малыш в коляске! Его нервная мамаша качала его так, что Скамейке казалось: сейчас крохотный комочек вылетит на парковую дорожку. Она очень боялась за него. Наверное, тогда-то Она и начала впервые скрипеть, как будто пытаясь успеть подхватить малыша. А

мамаша читала. Всегда. То книги, то газеты, то журналы. Осенние дожди прогнали эту читательницу из облетевшего голого парка. Отплакало небо, а потом забросало землю пушинками снега. В тяжком зимнем забытьи проходили дни. Иногда чьи-то скрипящие шаги будили Скамейку. Рукавицы смахивали зимнюю одежду, и горластые парни в компании громко хохочущих девиц усаживались на Ее окоченевшие колени. Пели, пили, дрались, кричали друг на друга. Однажды какой-то разошедшийся крикун сдуру саданул тяжелым ботинком по Скамейке и поломал Ее ребро. Она пронзительно вскрикнула и заплакала. Но люди не увидели Ее слез, как они многого не замечают в жизни, а всхлипы посчитали скрипом, обозвали «рухлядью» и, плюнув на сломанную плоть, ушли.

Весна не приходила особенно долго, словно ей было стыдно обнажать покалеченную Скамейку. Но все-таки ручьи побежали мыть усталое лицо земли, первые любопытные листочки показали свои зелененькие ладошки. Сторож долго смотрел на Скамейку, сокрушался, что нечем Ее починить, обломал торчащую доску и ушел.

Когда солнце расхрабрилось, высушило землю и начало раздевать людей, в парк вновь прикатила коляску мамаша-читательница. Малыш — пухленький карапуз, сидел в коляске-тросточке, теребил мамино платье и требовал ее внимания, не давая читать. Чтоб выкроить хотя бы пару минут свободного времени, мамаша вытащила дитя из объятий ремней и поставила

возле Скамейки, вновь углубившись в газету. Немного постояв, малыш, перебирая руками по поверхности неожиданной опоры, стал неуклонно двигаться вперед, обследуя незнакомую обстановку. Некрепкие ножки подгибались под весом тела, но цепкие пальчики не позволяли упасть. И вдруг Скамейка кончилась. Ребёнок нерешительно замер, оглянулся на мать – она продолжала читать – отпустил одну руку, чуть поприседал, пробуя крепость ног, и отнял вторую руку от опоры. Чуть качнулся, сделал неуверенный шаг, другой, сильно отклонился назад и как-то медленно, словно раздумывая над своим поступком, начал падать. О, как Она хотела помочь ребенку! Деревянная душа рвалась вперед, хотя понимала, что поддержать малыша не сможет. Тогда Скамейка острым обрубком сломанного ребра ткнула мамашу. Последняя ойкнула и метнула взгляд в сторону сына: едва-едва успела подхватить почти упавшего малыша.

Прошло еще какое-то время, и ребенок выучился ходить, отчего сразу стал похож на остальных посетителей парка и затерялся в веренице мелькающих лиц. Но память о том моменте, когда некое чувство, похожее на материнскую тревогу, проснулось в Ней, долго тревожило ночные сны Скамейки.

Душные летние ночи давили своей тяжестью на все живое. Измученные раскаленным солнцем растения не находили покоя и во тьме. Уставший ветер сломал свои крылья и больше не взбивал пышные прически деревьев.

Все изнемогало от жары. Дворник, поливавший асфальтовые дорожки, дышащие зноем, напрасно вглядывался в глубину неба: ни одного облачка не было на всем огромном небосклоне. Люди сонно передвигали ноги, не зная, откуда это вырвался злой ветер. Сначала он легко пробежал по головкам цветов и трав, потербил листья деревьев, освежил своим дыханием утомленных людей. Но потом налетел на город с яростью разъяренного быка, завыл волком и разом пригнал на небо целую стаю туч. Они укрыли весь небосклон своими печальными плащами, и город как будто окрасился в серый цвет, словно впал в уныние. От этого тучи расплакались и очень долго лили слезы на ставшие безлюдными улицы. Лето как-то сразу окончилось, окатившись в осень. Зашумел листопад, щедро укрыл все дороги желто-красными листьями.

Скамейка, покрытая золотыми листьями, уютно дремала в своем уголке. Парк постепенно старел, и если в центральной его части ещё изредка появлялись люди, гуляли, пели, веселились – словом, культурно отдыхали, то в отдаленные уголки уже никто не заглядывал. Теплые деньки «бабьего лета» не жили последней солнечной лаской потрескавшиеся старые доски Скамейки. Краска давно облупилась, обнажила шершавое дерево. Несколько досок было выбито яростной молодежью, но Она продолжала думать о Себе как вполне еще годной вещи для людей и не поняла, почему всеми забыта. Неожиданно Ее сон нарушили чьи-то

шаги, шуршащие по осенним листьям. Шорох был громок, с мелодичным хрустом, словно человек нарочно делал медленные, шаркающие шаги, наслаждаясь мелодией осени. Скамейка напряглась в ожидании. Ей отчаянно хотелось, чтобы этот неведомый романтик вышел к Ней, присел на оставшиеся доски и задумчиво о чем-то мечтал. Или вдруг поговорил бы с Ней о жизни, как это сделал однажды юноша, заехавший в этот город к своим не очень учтивым родственникам. Шаги приближались. Кусты, закрывавшие Скамейку, раздвинулись, пропуская шедших. Их было двое. Совсем не романтика замедляла их шаги. Многие десятки лет согнули тела людей, заснежили волосы и сделали тяжелыми ноги. Старички, поддерживая друг друга, добрались до Скамейки, и не спеша, смахнув покрывало из листьев, опустились на жалобно скрипнувшие доски. Они тихонько сидели: дедушка, шуря подслеповатые глаза, слезившиеся даже от случайных солнечных лучей, неторопливо осматривал желтую траву и оголенные деревья; бабушка поглаживала иссушенную жизнью руку своего спутника и беспокойно следила за его малейшим движением. Он закашлялся сухо, надрывая легкие, боль искавила изрезанное морщинами лицо; старушка подала ему платок и тихонечко, очень нежно приобняла за плечи: «Ничего, ничего, миленький. Сейчас пройдет», – и она отвела глаза, скрывая душевную муку, и томясь ложными словами. А когда вновь посмотрела на супруга, во взгляде были лишь любовь и благодарность.

Старички сидели, кутаясь от осенней тоски в теплоту своих чувств. Скамейка, согретая их присутствием, от всей души желала стать мягче и удобней, чтобы им было хорошо и они еще долго не уходили. Она даже перестала скрипеть и тихонько слушала мелодию любви. Не той, что в юности скачет на диком скакуне, опалая сердце, но не оставляя ничего, кроме пыли на дороге да воспоминаний чего-то мимолетного. Нет, это было иное чувство. Какое не вдруг обретается, а покупается у судьбы долгими годами страданий, ожиданий и надежды, когда только плечо спутника служит защитой от всех превратностей жизни.

Гостивший где-то ветер неожиданно возвратился, взбил на земле пышную перину листьев, торопливо раздел последние уцелевшие ветки деревьев. Старушка, глядя на меняющуюся погоду, заботливо поправила ворот свитера у старичка: «Ну, что, миленький, пошли домой: вон, ветер поднялся», – и она бережно помогла мужу подняться и осторожно повела по осеннему ковру из парка. Когда они ушли, Скамейка словно осиротела, будто что-то теплое, родное вынули из Ее деревянной души и унесли куда-то далеко и безвозвратно...

Эти и другие воспоминания проносились в грезах Скамейки, согревая дряхлое тело в холодный день глубокой осени. Хмурилось небо, подвывал ветер, и люди часто поглядывали на небосвод, ожидая первого снега, который вот-вот упадет на землю, чтобы тут же растаять и сотворить грязь.

Ближе к вечеру к Скамейке подошло трое дюжих парней с лопатами. Окопали бетонные опоры, расшатали их и своротили «старушку» набок. Присели, покурили. Подъехала машина. Парни закинули обломки Скамейки в кузов. Так началось Ее последнее путешествие.

Машина остановилась у городской свалки. Парни сгрузили весь мусор, включая и старую Скамейку, и уехали.

... Она лежала среди разного хлама и сожалела только об одном. Всю свою жизнь, как могла, служила людям, заботливо принимала участие в их отдыхе, подставляя деревянные плечи желающим поплакать, переживая радости и огорчения своих случайных

посетителей. И вот теперь... всеми забытая и брошенная, Она отлучена от людей и никому не нужна.

Снег все-таки пошел, серебрясь в угасающих солнечных лучах. Ветер крепчал, и стало по-настоящему холодно, словно зима уже пришла. Серые тени бездомных людей, именуемых бомжами, копошились на свалке, отыскивая пригодные к пище остатки. Чьи-то грязные руки ошупали изломанные кости Скамейки: «Глянь, Галка, вот нам и дрова. Погреемся сегодня». Четыре руки ухватились за обломки досок и поволокли бывшую Скамейку куда-то, подальше от свалки.

А Она тихонько улыбалась: вот и опять нужна людям!

Анатолий Бичевин

г.Иркутск, шк. № 14, 10 класс

ИСПОВЕДЬ МУЗЫ

Вечный мир, или Нескончаемая мечта!

Я – Муза, я плыву по воздушным струям и купаюсь в облаках. Иногда я люблю на краю какой-нибудь вершины посмотреть на Землю. Когда ветер развеивает мои волосы, растекается по моему телу, я чувствую весь мир. Слушаю его краски, звуки и ароматы. Когда ночь задувает день, словно свечку, то я прилетаю на альпийские луга и поляны с моей золотой арфой.

Всю ночь играя на чудесном инструменте, я разжигаю в темноте искорку света. Когда я пою, искра начинает разгораться. Начинается рассвет. Солнышко выглядывает из-за холмистого горизонта, и я счастлива.

Одним прекрасным утром, когда пропали краски рассвета, я разговаривала с кленом. У клена удивительная душа. Это кладовая

«Я медь ковал,
но на мгновение показалось,
будто это золото»

Автор

доброты и мудрости. Он говорил мне, шумя листвою: «Муза, милая. Ты вестница красоты, вольного ветра, синего моря. Я люблю тебя всей своей душой. Ты вершишь великие дела на Земле. Но, Муза, где же твои слезы?» Тогда я умчалась на вершину высокого утеса, и там плакала, сама не знаю от чего.

Ночью я решила слетать и поглядеть на людей. Мне было очень важно посмотреть им в глаза. В людях таился ответ на вопрос клена. Чтобы оставаться невидимой, я растворилась в воздухе. Вот вдали показались огни. Город был с высокими зданиями, шумом, суетой и большим количеством огней. Я опустилась на Землю. Люди, люди, люди... Они шли, спотыкаясь, ругаясь и ворча. Кто-то бежал, кто-то еле шагал, но все были с опущенными глазами. Какой-то мужчина с сумкой на плече пронесся сквозь меня, и мне стало не по себе. Я вдруг замерзла. Я взлетела на воздух, поднявшись высоко над городом. Луна отразилась в воде. Ночью покой завладел Землей, но только не здесь.

Я улетела прочь от этого места, прямо на восток. Я свободна, как ветер, быстра, как мысль, я хотела увидеть чистые глаза. Что случилось с людьми? «Почему вы замкнулись, словно в могилы?», – думала я. В эту минуту мне было тяжело. Я приняла свой истинный облик и закуталась в нежное облачко. Ведь я – Муза. Та, что пробуждает в сердцах людей любовь к искусству: поэзии, живописи... Искусство зажигает огонь в душе человека, его глаза светятся внутренним светом. В этот миг

он прекрасен! А если у человека нет искорки в глазах, он – несчастнейший из несчастнейших!

Я была очень грустна. Я нуждалась в стихах, как человек в пище. Плавно и задумчиво я перемещалась в небе. Внезапно я набрела на большой камень. До меня донеслись обрывки стихов... Неслышно ступая, я обошла камень и посмотрела на того, кто произносил стихи. Держа на коленях книгу и листы, там сидел очень красивый юноша. Я вышла из-за камня и поздоровалась с ним. «Здравствуй, девушка», – ответил он. Затем спросил, почему я так странно одета. А я ответила, что мне так удобно. Во время нашего разговора он не отводил взгляда от меня. У него были удивительные глаза, полные огня. Он сказал, что во мне есть что-то необыкновенное... Ах, знал бы он, сколько величайших людей в свое время говорили мне эти слова! Он прочитал мне свои стихотворения, я объяснила ему, кто я такая. Он вдруг начал громко смеяться, я тоже засмеялась. Когда мы успокоились, я сказала: «Дотронься, дотронься до меня». Его рука прошла сквозь мою, и по воздуху побежали цветные волны, как от камушка, брошенного в воду.

Предложила ему посмотреть на мой мир, и спросила, как его зовут. Он ответил, что Оссирием. «Так ты согласен, милый Оссирий?» Он ответил, что согласен. Его поэтическая душа нашла музу. Я попросила его приблизиться, и он сделал шаг. Произошла вспышка ярко-голубого света. «Ну, вот, – сказала я, – это мой мир! А это ваш», – и показала Оссирию

большие ворота позади нас. Внутри них сиял свет, переливающийся всеми цветами радуги. Но юноша не оглянулся, он продолжал разглядывать мой мир... Мимо нас прошло стадо грифонов, подгоняемых лукавым Паном. Я взяла Оссирия за руку, и мы поднялись ввысь. Оссирий был изумлен и даже потрясен. Вокруг нас плавали облака, вверху светило солнце, внизу тек и журчал мой мир. Мир фантазии, мир мечты, обитель Музы. Этот мир прекрасного опоясывает Землю, окутывает её многими слоями. Его не в силах увидеть и почувствовать ни один человек, не поговоривший с музыкой. Мой милый юноша, сегодня ты обо всем забудешь, с тобой случится нечто удивительное и неповторимое. «Полетели», – сказала я и взяла его за руку.

Мы летели и летели. «Оссирий, мы можем приземлиться», – сказала я, и когда мы встали ногами на землю, добавила, что только здесь, в воздушном слепке мечты, он может быть полностью счастлив. «Мне кажется, будто я во сне. Разве может быть наяву такое чувство...», – Оссирий задумался. Я тогда поняла, что в душе его зарождаются стихи. «Летают грифоны, порхают бабочки, смеются прекрасные создания, солнце светит и образует удивительную атмосферу удивительного счастья. Кроны деревьев, пропуская лишь часть лучей солнца, сами светятся, и маленькие амуры рвут с них ароматные плоды, а другие, оседлав кабанов и оленей, мчатся наперегонки. Над головой иногда пролетает какая-нибудь

огромная птица, создавая ветер своими огромными крыльями, а рядом со мной стоит светловолосая прекрасная девушка – дитя искусства. Такое возможно лишь во сне?!» – спросил Оссирий. Я сказала, что все это наяву. «Пойдем, – сказала я, тебе предстоит увидеть кое-что». Я повела Оссирия к пруду, который уже издали казался весьма оживленным. К пруду вела дорожка, вымощенная белым мрамором, по её бокам распустились и благоухали розы. Пчелы жужжали, и пели соловьи.

В том месте, где кончалась дорожка, над водой нависали ветки ивы. Я посмотрела на Оссирия и положила указательный палец ему на губы. «Не шуми», – прошептала я. Мы осторожно подняли ветки ивы.

В пруду плескались русалочки и амуры. В воздухе повис смех и, казалось, укутывал в свои объятия. На противоположном берегу, на грифонах и львах разъезжали прекрасные юноши, разговаривали между собой и с подплывающими к ним русалочками. Самое великолепное зрелище представлял собой огромный фонтан посреди пруда. Из него била розовая вода, а по бокам его, из специальных отверстий в форме разнообразных существ, вытекала прозрачная вода, так что сама вода в пруде была неопределенного цвета. Брызги от фонтана щедро разлетались вокруг. Над фонтаном вращался исполинский кристалл и, переливаясь на солнце, отбрасывал на воду и на берег разные цвета. Получалась мозаика. Лишь деревья на противоположном берегу

отливали зеленью. На Оссирия зрелище произвело огромное впечатление, и, когда мы с ним летели в Мир Поэзии, он признался, что от увиденного у него перехватило дух. Я объяснила ему, что кристалл – это сердце нашего мира, источник фантазии, он возник в душе человека, и что без него наш мир – мир мечтаний, воздвигнутый на Земле. Необычайная красота царила вокруг. Оссирий и я шагнули в Мир Поэзии.

Мы стояли на каменной платформе. Начинался рассвет, и солнце только выглянуло из-за океана. Вокруг был величественный океан. «Полетели навстречу Солнцу», – произнесла я, и мы улетели навстречу пробуждающемуся светилу. «Этот мир мрачен», – заметил Оссирий. «Не надо, – улыбнулась я, – ведь он не менее интересен. Это твой мир, поэт». Мимо нас летали чайки. Показались острова. Большие и маленькие, пышноцветные и совсем без растений, с людьми и без людей, населенные существами и каменными изваяниями, веселые и мрачные. Я рассказала Оссирию про то, что каждый остров – это душа его создателя. Много, очень много мы повстречали островов. «Когда ты станешь истинным поэтом, – я указала на водную гладь, – на этом месте возникнет остров, которому не будет равных!»

Долго мы пролетали в этот день. Разговаривали с людьми на островах, разглядывали поля и леса. Потом я решила, что пора приступить к самому главному. Когда мы летели обратно, казалось, что ветру с нами по пути. Оссирий возле ворот спросил меня: «Я один здесь побывал или в этом мире

были и другие люди?» И я ответила: «Ты, прав, Оссирий. Здесь было очень много людей из разных стран и разного времени. Помню очень милого юношу по имени Вильям. Именно на его острове стояли изваяния людей в пышных одеждах и звучали печальные предания. Я помню загадочного юношу с черными кудрями, что был здесь 200 лет назад. Помню многих...»

Мы стояли на пороге врат в Мир Нетленной Мечты и смотрели друг на друга. «Пора», – сказала я, и мы шагнули в ворота. В последнее мгновение Оссирий тревожно оглянулся. «Полетели, Оссирий, полетели туда, где сбываются или рушатся мечты, сон становится ощущаемым и гениальные мысли ложатся венком из лавровых листьев на твою голову. Полетели, мой юный поэт, в то место, откуда крик души долетает до небес или падает в пропасть. Побывав там, ты окутаешь себя великой силой разума, и ты сможешь все». Я и Оссирий летели в Мир мечты и вот меж облаков увидели Белую скалу. Она была столь ярка, что слепила глаза. Когда облака расступились, представший мир поразил глаза. Оссирий застыл в воздухе. Через некоторое время он пришел в себя. «Все великие люди искусства прошли через это: художники, композиторы, поэты. Успокойся, милый мой поэт, – я погладила его по голове. – Ты поэт, а я – твоя Муза».

Картина действительно была впечатляющая. Белая скала сверкала в море пустоты под нами. На вершине

стояла небольшая арка, украшенная цветами, а за ней, уже на самом краю, над пропастью стоял черный каменный трон. Человеку, сидевшему в нем, суждено было смотреть или вниз, или вперед, на солнце, восходящее далеко за снежными вершинами. Я сказала: «Милый Оссирий, сейчас я улечу на один день. То, что предстоит тебе, опасно. Но ты, я чувствую, один из избранных. Сердце подскажет тебе, что делать, но помни: когда перейдешь за арку, ты не сможешь летать. И если упадешь вниз, подняться в воздух уже не сможешь. Внизу тебя ждут лишь смерть, тлен, холод и тьма. Внизу – Небытие. Люди, садящиеся на трон, теснят само Небытие, пытающееся захватить наш мир. Я думала: «Я могу и быть, и не быть. Но Небытие удивительно – его вообще нет. Оно стремится поглотить все вокруг. Я верю в тебя, Оссирий. На этом троне, на этой скале к тебе должны прийти великие идеи. Я верю в тебя!» И я улетела.

На закате я вернулась за Оссирием. «Испытание на Белой скале будет последним для него, – решила я и хотела этим же днем вернуть его на Землю. День я провела у Кристального пруда. Я очень хотела поиграть на арфе, но её со мною не было. Летать не хотелось. Я уснула, не зная, какую борьбу выдерживал Оссирий на краю бездны.

Вот я уже подлетела к Белой скале. Тревога закрылась в мое сердце. Я подлетела к уступу и подбежала к арке. «Оссирий, откликнись! Мой милый поэт», – кричала я, но никто не откликнулся. Я перешла через арку, мне впервые в жизни стало страшно.

Осторожно подошла к трону и заглянула в лицо Оссирия. Он был неузнаваем, его глаза впали, губы побелели. Он часто дышал. Оссирий посмотрел на меня своими синими глазами. И все же это были те же милые, пламенные глаза. «Я ждал тебя», – сказал он и показал вперед. Небытие отступило! Пропало!

Я сказала ему, что он сильно изменился, но он ничего не ответил. Ветер развеивал мои волосы, по щеке текла слеза. «Не плачь, – тихо прошептал Оссирий, – я должен был это сделать».

Мы летели, взявшись за руки. К Оссирию вернулась сила. Вот пронесся мимо нас грифон, и мы летим уже над Кристальным прудом, поляной чудесных существ, облаками... Вот мы уже стоим перед воротами в его мир: «Прощай, лиловый мир, воплощение человеческой мечты». И снова вспышка. «Это было удивительно, – говорил Оссирий, – в своем мире я никогда тебя не забуду. Пусть мой остров, когда я уйду, будет воспоминанием обо мне». «Прощай, милый Оссирий, мой милый поэт!» – сказала я. «Прощай, моя милая Муза, моя нимфа грез».

Оссирий сел около того же камня в той же позе. Взял книгу и бумагу. А я ушла за камень и вознеслась к небесам.

– Вот и все, – сказала Муза и улыбнулась.

– Это восхитительно, признался художник, не веря тому, что записал историю Музы.

– Теперь, когда оглядываюсь назад, какая-то непонятная вина мучает меня. И я догадываюсь – какая. Но что поделаешь? Я ни о чем не жалею. Прощай, художник! Желаю тебе удачи и счастья на этой Земле!



И. Малкин
студент ИрГТУ
Педагог А.С.Щипицын

Муза отошла к краю склона и повернулась к художнику. Она улыбнулась светящейся улыбкой, её волосы схватил ветер, её охватил свет, и она исчезла. Исчезла из Зелёного мира. В Мир

Фантазий. Прощай, Муза!..

Возможно, Муза исчезла надолго. Но не навсегда! На время конец пришел Музе и в слове, и в песне, но только... На время!

Александр Турханов

Участник областной конференции

«Молодость. Творчество. Современность.»

КАТЕНЬКА

Рассказ

С моими сочинениями происходят странные вещи: выдумав от первой до последней буквы какую-нибудь историю и записав её на бумагу, через некоторое время я обязательно сталкиваюсь со своей фантазией в жизни.

Так случалось со многими моими рассказами, с той лишь разницей, что действующими лицами моих придуманных историй оказывался не только я, их сочинитель, но и мои друзья, приятели моих друзей или просто незнакомые люди, истории которых, очень похожие с моими, доходили до меня.

Например, в один из снежных вечеров, когда сумерки медленно вползали ко мне в комнату, я решил пофантазировать о человеке, который потерял свой дом. Я писал рассказ до двух часов ночи, нередко сморкаясь в платок от переполнявших меня чувств.

А утром ко мне зашла соседка Анна Павловна, высокая крикливая дама, и рассказала, что вчера вечером к нам во двор вошел потерянный мужичок: он сел на скамейку под нашим тополем, сидел долго, вызывая недовольство местных grandmamam. Выяснилось, что когда-то, ещё до войны, на этом самом месте, где стоит сейчас наша пятиэтажная развалина, был его крепкий деревянный

родительский дом. Но дом сестра продала. Чуть позже дом снесли. И тополь, который своими руками посадил ещё дед потертого мужичка, оказался единственным свидетелем этих изменений.

Анна Павловна рассказала и ушла, а мне стало понятно – вся история, произошедшая в нашем дворе, сначала появилась у меня на бумаге, а затем, как мне верилось, и в жизни.

Помню, это был первый случай совпадений моей фантазии и, так называемого, реального мира.

Я очень волновался. Бегал по городу в поисках «гостя», рассказывал о нем прохожим, но не нашел.

Или ещё пример. Кажется, это был мой седьмой рассказ. Вдруг захотелось написать о женщине легкого поведения, которая входит в дом к порядочному интеллигентному мужчине с целью остаться там навсегда.

Но здесь со мной произошло то, о чем все сочинители знают – начинаешь писать об одном, а заканчиваешь совсем про другое.

Так, в моем рассказе, в его окончательной редакции, порядочная женщина входит в дом в роли порядочной женщины, а уходит из дома в образе «легкомысленной» дамы, переспав со всеми друзьями любимого

человека. Рассказ вылился в повесть с расщепленной психологией.

Через неделю после завершения, кое-что изменив и подправив, я отнес его в «толстый» солидный журнал и сдал на руки художнику суевливному редактору. Ещё через две недели повесть была напечатана. А ровно через трое суток ко мне приходит незнакомый мужчина (в приличном костюме и в бабочке) с большим желанием набить мне физиономию.

Мы с ним громко поговорили и через несколько минут выяснили: та история, что произошла с ним, и та, что я выдумал, – все правда. Только эту правду я нафантазировал, а он пережил её на собственной тридцатипятилетней шкуре.

После этого случая я стал более осмотнительным в своих фантазиях и менее скандальным в своих сюжетах. Писал сказки и детские стишки и давал их читать соседским ребятишкам. Но вся беда оказалась в том, что ни стишки, ни сказки сочинять Бог не дал мне таланта. Сказки детям не нравились. Не нравились они и взрослым. А над стишками я сам плакал и смеялся.

Но что мне было делать, когда я, как говорится, уже был «стукнутый» творчеством?

И вот однажды ранним утром после бессонной ночи я достал чистый лист бумаги, положил его на растрепанный диван, сам сел рядом, решив выяснить, в чем дело и как мне быть.

«Что такое человек?», – спросил я самого себя. Из популярной литературы я знал, что человек состоит из трех элементов, соответствующих трем основным мирам: духовному, астральному, физиологическому.

К первому принадлежит чистый дух и высшие духовные понятия.

Ко второму – разум, чувство и желания.

К третьему – астральные и физические тела.

И если все элементы, составляющие человека, выразить через круги, то получается схема, в которой каждый низший круг проникает в высший. А все, соответственно, заключены в один круг, который и выражает волю человека.

Но меня научили считать, что воля человека – это его мысль, та сила, посредством которой человек влияет на окружающие его миры.

Лежа у себя на диване и пялясь на чистый лист бумаги, я вспомнил опыты г. Дорже с фотографическими пластинками. Или опыты гг. Рома и Рейхембаха, из которых следовало: всякая наша мысль отпечатывается на астральном мире и имеет в себе его основной, духовный, принцип, энергию и астральную материю. Одним словом, мысль, реализуясь в астральном мире, переходит в действие.

Следовательно, все мои фантазии, рассказы – не что иное, как мысли других людей, отпечатанные в моем сознании, словно на фотографической карточке!

Дойдя до этой точки рассуждений, я встал, чтобы открыть форточку. Долго смотрел на крыши домов, на белые облака, на синее небо.

– Но что мне делать? – спросил я у города. – Ведь мне обязательно когда-нибудь оторвут голову.

Я снова лег и задумался.

Чего мне хотелось в первую очередь? Тихого сознательного бытия и признанности без отрывания головы. Скомкав первый чистый лист, я положил перед собой второй и решил

составить схему, которая принесет мне благополучие и покой.

Во всех своих первых работах я шел через фантазию. Она приводила меня к выдуманным действующим лицам рассказа. Затем я брал бумагу и записывал.

Примерно схема выглядела так: мысль – образы – бумага.

Теперь же, после нескольких минут возни на диване, я решил построить схему вверх ногами: бумага – образы – мысль.

Но после ещё четырех выкуренных сигарет я решил, что это полный идиотизм и изменил схему: образы – бумага – какая-нибудь мысль, а ещё лучше совсем без мысли. То есть писать так, как фотографируют в ателье на документальные снимки – отображают существующие факты. И не более того.

Что эта схема мне давала? То, что теперь я буду только записывать увиденное, не подключая ни одной мысли и не делая никаких выводов.

Раз уж я совсем не могу не писать, то быть безмозглым писателем все же лучше, чем быть писателем без головы.

Прийдя к такому решению, я решил круто изменить свою жизнь, устроиться на работу по специальности (по образованию я учитель географии) и описывать только то, что увижу.

Решив так, я перевернулся на спину, улыбнулся в потолок и стал ждать.

II

Ожидание не обмануло меня. Как бывает только в сказках, помощь не замедлила явиться ко мне в образе моего друга Барона Фона.

Барон – театральный художник. Настоящая его фамилия Сидоров. Но – Барон – он сам придумал, и этот

псевдоним подходил к нему, как бутафорский плащ из пьесы старого мастера орангутангу.

Художник в наше время, как считал Барон, явление уже обыкновенное. Но Сидоров, русская фамильная обыкновенность, тем более, скандалист и бабник, уж слишком обиденно. Закончилась вся эта история тем, что Сидоров взбунтовался, исчез, и его место занял нелепый Барон Фон. Многие наши друзья на это только рассмеялись, и я в том числе, – пусть тешится, если нравится.

Вот этот самый Барон-Сидоров пришел ко мне вечером с бутылкой коньяка (а ничего, кроме коньяка, Барон не пил) и предложил мне поменяться на время с ним квартирами. То есть мою однокомнатную со всеми удобствами келью в центре города поменять на его флигелёк в деревянном доме на окраине.

– Тебе все равно некуда выходить, – объяснил он свое предложение. – Сиди и строчи. А мне до мастерской от тебя два шага. Работу срочную надо закончить. Идет?

– Согласен, – сказал я.

Мы ударили по рукам, затем стаканом о стакан, обменялись ключами, и он выпер меня с кое-какими вещами за порог.

Началась моя новая жизнь.

До середины дня я, помня обещание ничего не придумывать, сидел у окна с тетрадью и честно, и пристально рассматривал убогий дворик. Но уже в обед, почувствовав себя плохо, через час или два бился в горячке на бароновской постели. Я не мог ни подняться, чтобы выпить воды, ни скинуть с себя эту мохнатую зверюгу.

Должно быть к вечеру, так как окно, против которого я лежал, словно

было накрыто темным покрывалом, ко мне пришла моя первая галлюцинация. Любопытно, что до настоящей болезни я никогда не испытывал таких ярких и как бы вне меня видений. Все то, что придумывал, было все-таки моим творчеством: я мог организовывать, изменять ход сюжета, по крайней мере, был хозяином своих грез.

Но здесь же все то, что происходило вокруг меня, казалось, было чьей-то чужой, враждебной или дружеской, но не моей волей.

Видение первое

Я лежу на кровати в незнакомой комнате. Дует ветер в открытую форточку, и мне холодно, комната освещена луной.

Я поворачиваю голову. На противоположной стене висит женский портрет в тяжелой железной раме. И кажется, что женщина наблюдает за мной, — должно быть от лунного света у неё странно поблескивают глаза. Как я ни вглядываюсь, но лица женщины увидеть не могу. Ясно видно только глаза.

Незаметно комната наполняется гостями. Какие-то темные неразборчивые тени. Я рассматриваю, уже различая некоторых из них: вот маленький с хамоватой физиономией мужичок в кожаной куртке и трусах; молодой монах; крупная дама в пенсне и шляпе; худенькая женщина в черном; девушка в белом подвенечном платье; ещё два-три неясных образа...

Они бродят по комнате без видимой для меня цели. Но каждый раз, когда кто-нибудь из них приближается к портрету, то он низко кланяется нарисованной женщине.

— Что все это значит? — спрашиваю я. — Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?

Но гости делают вид, что не слышат моего пискливого от страха голоса. Все, кроме девушки. Она делает мне знак молчать, приближается ко мне, но нарисованная мадам поднимает руку и грозит девушке пальцем. Гости смеются. А я «падаю» в обморок.

Видение второе

Должно быть, прошло немного времени — все также дует ветер, светит луна. Но, к моей радости, из комнаты исчез портрет, а вместе с ним и странные гости.

На столике рядом с кроватью я замечаю в беспорядке разбросанные исписанные листы. Я беру некоторые из них, напрягаю зрение.

«Движение всегда лучше, чем отдых».

«Вопрос: в какое время вам хотелось бы жить?»

«Человечество делится на две части: те, что много требуют от себя и тем самым усложняют себе жизнь и следуют долгу, и те, кто не требуют от себя никаких особых усилий. Плывут по течению».

Читаю ещё одну запись.

«У него множество талантов, кроме одного — таланта использовать их».

— Это про меня написано! — говорю я вслух, пытаюсь подняться.

Но внезапно где-то в глубине дома я слышу звуки. Они приближаются — топот маленьких ножек, детский смех, выстрелы игрушечных пистолетиков.

— Где они? — слышу я страшный голос. — Где эти негодники? Дети! Кто первый увидит их, тому я разрешу на пять минут выйти за ворота. Ищите!

Я мертвею у себя на кровати, и чувствую такое, словно я притаился в холодильнике.

– Не бойтесь! – слышу я тихий голос рядом с собой. – Они не вас ищут. Им нужны только мы.

– Кто – мы? – спрашиваю я, рассматривая луну.

– Мы – это те, кого больше нет. Для вас, живых, нет, – опять говорит этот голос. – Но я очень просил, и нам разрешили повидать друг друга. Правда, на очень короткий срок. Понимаете, когда-то мы были вместе...

– И нам было очень хорошо, – неожиданно говорит другой, женский голос.

– Да, нам было очень хорошо, – соглашается мужчина. – Нам было пять лет, и мы целый год ходили вместе в детский сад. А матери шли за нами и улыбались.

– Садик! – удивился я. – Я что... в каком-то садике?!

– Мы часто убегали вдвоем. Прятались от воспитательницы. За это нас наказывали, рассаживали по разным углам. Но и там мы были счастливы, так как могли видеть друг друга, – продолжил рассказ мужчина.

– И что же? – спрашиваю я, устав от кошмара, призрачного детского сада, тихих голосов, сентиментальной истории. – Что дальше?

– Через год я сильно заболела, говорит женщина.

– А я прожил ещё тринадцать лет, пока тот обкуренный господин не сел за руль.

– Я тебя очень ждала, – говорит женщина.

– А я, наверное, очень хотел снова с тобой встретиться. Потому так и случилось.

Они замолчали. Я смотрел на луну и злился на весь этот бред, что окружал меня.

– Мне неприятно! – взмолился я. – Неприятно это слышать! Я ведь болен!

Но по опыту я знал, – неприятности, что приходят к тебе, похожи на шествие раков-лангустов. Они идут рядом с тобой с одной им понятной целью, – усики к хвосту, хвост к шевелящимся усикам. И остановить их нет никакой возможности. Разве только раздавить одного, другого, двадцатого... если хватит выдержки и сил.

Но как можно раздавить то, что не существует?

– Кажется, они нас не нашли, – заговорил мужчина. – Спасибо Вам! Вы нас опять спасли.

– А почему вас ищут теперь? – спросил я.

– Там ведь тоже свои накладки, – ответил мужчина. – Одни разрешили. Другим не понравилось, они запретили. Но я очень хотел увидеть Катеньку... Как оказалось, Катенька была моя первая, единственная и последняя любовь.

– В пять лет? – я улыбнулся. – А как теперь она выглядит, как пятилетняя девочка или как тридцатилетняя женщина?

– Не смейтесь, – сказала девочка-женщина. – Не надо смеяться над нами. Ведь вы не злой, не глупый человек. Просто вы очень несчастны и одиноки. И мне вас очень-очень жаль.

– Это правда, – говорю я. – Мне действительно очень одиноко. Вот и заболел ещё... Но вы не обижайтесь на меня. Не будете?

– Не буду, – по голосу было слышно, что девочка-женщина улыбается. – А в доказательство скажу вам по секрету, что очень скоро вы встретите свою первую и настоящую

любовь. И будете счастливы! Вы верите мне?

– Хочется верить, – ответил я.

– Нам пора, – вздохнул мужчина. – Путь долгий и нам надо успеть к сроку. Прощайте.

– Подождите! – крикнул я. – Но кто вы сейчас? Ангелы? И как Там? Что Там?

– Нам это трудно объяснить, – ответил мужчина. – И не все мы можем рассказать. Да и зачем... Сами все узнаете.

– Ну, хоть что-нибудь! – взмолился я.

– Попробую, – сказала женщина. – Не только у голоса есть свое эхо. Но и у прошлого. У наших мыслей, поступков и желаний. И у каждого прожитого дня есть свое эхо. Каким оно будет – вам решать... А мы, – женщина помолчала, – мы только эхо нашего детства и нашей недетской любви.

– Прощайте, – сказал мужчина.

– Прощайте, – сказала женщина.

– Ещё секунду! – крикнул я. – Ну, я, как из вашего мира я выгляжу? Вы меня видите, я-то вас не вижу, только слышу.

Голоса рассмеялись.

– Вы похожи на тот куст сирени, в котором мы особенно любили прятаться, – ответил мужчина.

– Что-что?! – я растерялся. – На куст? Сирени? Как, на куст! Что за мир у вас такой, что нормальные люди похожи на кусты?

Но стало очень тихо вокруг.

Видение третье

Я не помню, как он пришел ко мне. Кажется, я на миг справился со своей болезнью, – комнату залил яркий свет, танцевали вокруг меня солнечные зайчики, где-то недалеко играли на рояле, подпевал мелодии нежный женский голос.

Но внезапно свет погас, словно на солнце напозла черная туча. Задул ветер, стало холодно, надвинулась на окно круглая луна.

Я услышал шум работающей машины, по стенам комнаты метнулся луч. Мне необходимо было подняться и подойти к окну, чтобы разглядеть происходящее, – это было мучительнее всего. Но я пересилил себя.

Город исчез. Высокие горы окружали мой дом. Поблескивала над рекой луна. Мой дом стоял на небольшом холме. У его подножия я разглядел засыпанный снегом деревянный погост. И, как вырванный зуб, чернела на белом сугробе могила. Она была освещена фарами машины. Дым от работающего мотора, смешиваясь со светом, клубами стлался над ямой.

Маленькая женщина, закутанная во все черное, подошла к могиле. Она плакала.

Четверо мужчин вынесли из машины длинный ящик, напрягаясь, поставили его над ямой, открыли крышку.

Старик лежал в не обитом материей гробу, без подушки, накрытый белой простыней. Плачь женщины стал громче. Она низко склонилась к избитому, в кровоподтеках, опухшему лицу. Что-то быстро стала говорить.

Гробовщики стояли в стороне, курили. Гудела машина, клубился синий дым. Далекие звезды ясно горели на черном небе.

Наконец, женщина отошла от гроба. Гроб закрыли крышкой, заколотили, яму быстро закопали.

Внезапно женщина повернулась ко мне. Я увидел её лицо.

– Мама! – выдохнул я.

– Это твой отец, сынок, – сказала мать. – Видишь, как вам привелось увидеться, – она помолчала. – Он, наверное, сам не думал, что вот так его похоронят – в необитом гробу, без подушки, раздетого... как безродного. Я ведь только час назад приехала. А встретила его уже на дороге и прямо сюда. Собрать-то как следует не успела. Вот и хороним ... раздетого. Вот так, сынок.

– Мой отец! – я опомнился. – Я не знал про него ничего. Ведь ты говорила, что он давно умер. А он совсем старик...

– Ты сам сейчас все видишь, – сказала мать. – Именно он так хотел, чтобы ни ты, ни он не знали друг друга, – мать помолчала. – Он всю жизнь хотел только одного, чтобы все оставила его в покое. Приходили и уходили, не задерживались рядом с ним надолго.

– Что с ним случилось? – спросил я тихо.

– Что может случиться с человеком, который сам себя забросил, – ответила мать. – Его избили пьяного, бросили на улице... морозы здесь сильные. Замерз.

– Мама, – позвал я, но неожиданно машина заработала сильнее, дым плотной пеленой закрыл и мать, и могилу, и заспешивших к машине гробовщиков.

– Ты давно мне не писал, – услышал я из-за дыма голос матери, – совсем, сыночек, меня забыл. Ты... – но голос исчез, как и видение погоста.

– Господи, Боже! воскликнул я, забираясь под одеяло. – Пусть это закончится! Сил нет больше! Я брошу курить! Я больше не буду ничего писать, выдумывать! Пойду в школу!

Буду хорошим! Только дай мне выздороветь, Господи-и-и!

– Тише, родненький, тише, – опять услышал я голос рядом с собой. Притаился под одеялом.

– Кто здесь? – спросил я. Голос показался мне знакомым.

– Да ты выберись из-под одеяла, – опять сказал голос.

– Катя, это вы? – спросил я. – Вы опять пришли? Что-нибудь случилось? Вас нашли?

Девушка рассмеялась.

– Да открой одеяло, – сказала она.

– Зачем? – спросил я. – Мне и так вас хорошо слышно. А увидеть вас все равно не смогу. Или уже смогу... Я что – умер?

Девушка опять рассмеялась.

– Нет, – сказала она. – Не умерли. Скорее наоборот – выздоравливаете.

Я ещё подождал немного, затем пересилил себя. Баронова комната утопала в слабом призрачном вечернем свете. В открытое окно лился едва уловимый запах тающего снега.

Девушка была рядом, вся окутанная лунным светом, словно плащом феи. Она взяла меня за руку.

– Значит, я все-таки не умер, – сказал я. – Как хорошо! Но вы – Катя?

– Катя, – сказала девушка.

– А вы мне приснились, – признался я. – У меня не было вещих снов. Этот – первый. Сначала я услышал ваш голос, а теперь вижу вас... И это – самое удивительное! Долго я болел?

– Долго, – сказала девушка. – Вы сутки не приходили в сознание. Мы с бабушкой вызвали врача. Он не разрешил увозить вас в больницу – было опасно. Он прописал уколы, и я ставила.

— Какая вы чудесная! — сказал я. — И как хорошо не болеть! А главное — я не хочу знать, кто вы и как оказались в этой комнате. Вы здесь, и это самое удивительное!

— Я могу рассказать, — улыбнулась девушка. — Мы живем с бабушкой в этом доме, и нас ваш друг предупредил, что вы поживете у него...

— Не надо, Катенька, — остановил я девушку. — По крайней мере, не сейчас. Потом. Когда-нибудь. Хорошо?

— Хорошо, — ответила девушка.

Незаметно комнату накрыла ночь. Воздух посвежел. Яснее доносился аромат талого снега. Предметы, окружающие нас, медленно погружались, словно в теплую темную воду.

— Ляг со мной рядом, — попросил я. Она прижалась ко мне, я стал гладить её волосы, милое родное лицо. И мне показалось в эти мгновения, что миллиарды лет с нашего первого знакомства пролетели незаметно. И то, что случилось во время нашего расставания — всего лишь мираж, сон.

— Послушай, что я тебе прочитаю, — сказал я. — Я очень люблю этого писателя. Послушай!..

«Мы стояли у окна, туман льнул к стеклам, густел около них, и я почувствовал: там, за туманом, притаилось мое прошлое, молчаливое и невидимое... Дни ужаса и холодной испарины, пустота, грязь, клочья загубленного бытия, бесцельно уходящая жизнь, — но здесь, в тени, передо мной, ошеломляюще близкое, тихое дыхание, её непостижимое присутствие и тепло, её ясная жизнь...»

Я замолчал. Капли первого весеннего дождя тихо стучали по подоконнику.

— Как хорошо! — вздохнула девушка.

— Хорошо, — сказал я. — Ты знаешь, многие мои истории, которые я сам выдумываю, так часто предугадывают реальную жизнь... Именно предугадывают! Но сейчас с нами, мне так кажется, происходит то, что когда-то выдумал другой писатель. Словно мы — ожившая картинка, сочиненная неведомым художником. А может быть, это я опять сочиняю новую историю, ещё не знаю, какой она будет — счастливой или грустной.

— Удивительной! — сказала девушка.

— Катенька! — воскликнул я. — Только ты не уходи! Не будь опять моим сном! Я уже много нагрешил за свою жизнь. Тридцать лет — возраст замечательный. В том смысле, что уже многое в этом возрасте замечается: что половина жизни уже прожита и что нового впереди мало предвидится. Все знакомо, как в стареньком букваре, найденном под бабушкиной кроватью... Так я считал до встречи с тобой.

— Миленький мой, — сказала девушка. — Ты устал очень. Тебе надо отдохнуть. Ты закрой глаза, поспи. Все у нас будет хорошо... Хороший мой, родной, любимый! Я обязательно к тебе приду. Только ты усни, отдохни.

Я закрыл глаза, чувствуя легкое головокружение и ноющую усталость во всем теле, и через несколько мгновений, не заметив этого «приду», я уснул.

Очнулся я поздно оттого, что сильно замерз. Огляделся.

Дневной свет безжалостно скинул очарование весенней ночи, выпятив наружу неприбранность Бароновой комнаты, грязь, сор на полу, заваленный окурками стол. Десятки картин ютились по углам, несколько

картин было развешено на стенах. Накрытый серой простыней мольберт торчал в середине комнаты, как заблудившееся привидение.

Наверное, каждый одинокий мужчина чувствовал то осязаемое очарование от присутствия женщины в его холостяцкой квартире, особую атмосферу чистоты и покоя.

Так было всегда в моих вечерних грезах. Но теперь комната молчала, словно скрывая от меня девушку.

Я быстро поднялся. Одеваясь, рассмотрел одну из картин, что была ближе ко мне. На ней Барон выписал небольшой зал кинотеатра с единственным зрителем – стариком. Он сидел немного боком ко мне, слегка отвернувшись от экрана и напряженно прижимал слуховой аппарат к уху.

На экране играл камерный оркестр, расположившись прямо на улице какого-то древнего города. Темно-красное солнце опускалось за горизонт. Небо неестественно темно-вишневого цвета висело низко над городом, – крыши домов и соборов, казалось, врезались в эту бутафорскую картонную декорацию.

Приглядевшись, я с удивлением узнал своего друга среди оркестрантов.

«Автопортрет», – прочитал я название и невольно улыбнулся.

– Каждый сходит с ума по-своему, – решил я, одевшись.

Должно быть, замечательное чувство испытывает человек, когда через много дней выходит на улицу, – плохое хоть на несколько мгновений забывается, и хочется верить, что впереди только хорошее. Но я сильно волновался за девушку и потому, не замечая весенней суеты вокруг, сразу прошел к дому, где по словам Катеньки, она жила с бабушкой.

Дверь мне открыла толстая тетка.

– Что надо? – спросила тетка.

– Катю позовите, – сказал я.

– Ха! Катю! – удивилась тетка. – Какую Катю, милоч?

– Катю, – терпеливо повторил я.

– А может Варю, а? – я только сейчас заметил, что тетка пьяна. – Варю я могу позвать. Хочешь, а? Варя у нас есть. Замечательная Варя! Хочешь?

– Не хочу Варю... Катя здесь живет с бабушкой?

– Ещё и с бабушкой! – вытаращила глаза тетка. – Оказывается, здесь живет Катя с бабушкой!.. А я и не знала. Сорок лет здесь живу и не знала, что здесь живет какая-то сука Катя с дурой бабкой.

– Что? – я растерялся.

– Кто там? – спросили из дома.

– Митя, – позвала тетка. – Здесь какой-то мужик своих баб ищет. Иди сюда!

Рядом с теткой оказался маленький мужичок в кожаной куртке и трусах:

– Что надо?

Я опомнился:

– Как вы её назвали?

– Ой-ой-ой, как страшно! – заколыхалась тетка. – Посмотрите, какой нежненький. Потерял свою бабу, так сам себя вини. Мы здесь не виноваты. Иди... – тетка выругалась, – А нас оставь. Понял?

Я медленно подошел к тетке, несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза.

Мне часто приходилось встречаться в жизни с пошлостью. Но только теперь я узнал, какое у неё лицо – лицо пьяной опустившейся женщины.

– Я вас не трону, – сказал я тихо. – Только скажите... жила здесь девушка или нет.

– Не жила, – усмехнулась тетка. – Никогда не жила. И никогда жить не будет.

Тетка ещё постояла немного, затем обняла мужчину за плечи, пошатавшись, медленно повела его в темную глубину дома.

«Ещё один сон, – подумал я. – Ещё один сон моей болезни – нелепой, странной, с ясными видениями, но что со мной? И где в следующий раз я очнусь? Кто будет рядом? Какие существа придут из моего сознания?.. Надо пойти к Барону, лечь, попытаться уснуть и запретить себе что-либо видеть», – решил я и поднял глаза.

Исчез дом, грязный дворик.

Я стоял в поле. Мохнатый серый туман медленно полз ко мне. Далеко на горизонте вставало солнце, окрашивая небо в зеленовато-желтый цвет. Я сделал шаг навстречу солнцу. Туман добрался до меня, обхватил со всех сторон. Я сделал ещё шаг и поскользнулся. Падая, успел увидеть темно-синее небо над собой, бледные звезды, далеко-далеко ярко-красный пожар нового дня, но вся картина замелькала у меня перед глазами, сначала медленно, затем быстрее и быстрее, переходя в мгновенную смену дня и ночи, превращаясь в бледное зыбкое мерцание.

Я застонал и проснулся.

III

Проснулся у себя на диване, уткнувшись лицом в измятый чистый лист бумаги.

За окном трепала город февральская метель. В открытую форточку залетали снежинки, кружились по комнате.

– Да, – сказал я, закуривая сигарету. – Привидится же такое! – Я вспомнил свои рассуждения перед сном о

выдумке и реальности, об астральной материи и воле. Стало смешно и тоскливо. «В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле», – вспомнил я Шопенгауэра.

– Пойду к Барону, – решил я. – Одному свихнуться можно.

Мой друг жил через два квартала от меня в стандартном одноэтажном особняке в центре небольшого сада. Дом находился рядом с театром, и когда актеры, приятели Барона, забегали к нему во время репетиций, иногда не снимая дворянских мундиров и элегантных фраков, я смотрел на них, гуляющих по саду, и мне казалось, что время с тех пор не изменило своих обычаев и не утратило своего утонченного обращения.

– Ты куда пропал? – сердито встретил меня друг.

Я молча прошел по комнате, завалился в глубокое кресло.

– Что скажешь? – спросил Барон, подходя ко мне. – Сколько тебя можно искать? Раз двадцать к тебе приходили. Куда пропал?

– Пропал и пропал, – ответил я. – Что с того...

– Да?! – удивился Барон. – А то, что у меня день рождения вчера был? Что все собрались? Что сестренка ко мне приехала? Это по-твоему ничего не значит?

– Димка! – вскочил я. – Димка, прости меня. Но со мной вчера такое было... – я снова сел. – Дай мне выпить чего-нибудь, пожалуйста.

Барон поставил передо мной графин с коньяком, две рюмки. Я налил себе и ему, не дожидаясь друга, выпил, налил ещё. Барон взял рюмку, внимательно посмотрел на меня, сел в кресло напротив.

Я рассказал другу свои видения, пытаюсь найти точные определения.

Это было трудно, но картины ясно стояли у меня перед глазами.

Мы помолчали.

– Так, – сказал Барон и улыбнулся. – Все ясно.

– Что ясно? – спросил я.

– Все ясно, – повторил Барон и опять улыбнулся. – Человек смертен потому, что ему так хочется победить пространство и время. Бессмертный Бог не выдумал бы автомобиль. Кто это сказал?

– Не знаю, – ответил я.

– Когда нам кажется, что остался один выход, – продолжал Барон, – на самом деле их два: выход и уход из мира. Однако уход из мира – это действие, обусловленное фактом существования мира...

– Что ты говоришь? – прервал я друга. – Издеваешься?

– Нет! – рассмеялся Барон. – Высокомерие и неуверенность – вот типичные черты современного человека. Ты высокомерен, а потому и неуверен в себе. Резкое расхождение прошлого и настоящего, сознания и подсознания – характерный признак нашего времени. Отсюда и тревога и неуверенность нашего современника.

– Да иди ты! – я рассмеялся. – Хватит издеваться!

– Ну, не буду, – сказал Барон. – А теперь чуть серьезнее. Ещё сто лет назад какой-нибудь купчина, сидя у Тестова, разве мог предположить, что через шестьдесят лет человек полетит в космос, изобретет атомную, ядерную и прочие бомбы, найдет лекарство от чахотки и секс по те-ле-ви-зо-ру будет самым обычным делом. Не мог предположить. Вот и мы не знаем в самом начале двадцать первого века, какие новые знания приобретет человечество. И, может быть, твои, так

называемые, сны – отголосок наших будущих вещей, а потом и обыкновенных знаний... Ну, а теперь давай я тебя с сестренкой познакомлю, – улыбнулся Барон.

– У тебя сестра есть? – сказал я, разливая коньяк по рюмкам. – Красивая? Молодая? А что раньше не рассказывал?

– Да я и сам узнал только вчера, – сказал Барон. – Ты ведь знаешь, отец с матерью разошлись, когда мне и трех лет не было. И мы ничего про его новую семью не знали. Он так сам захотел. А год назад он умер и оставил Катеньке мой адрес.

– Катенька! – я медленно поднялся.

– Ну, да, – сказал Барон и позвал. – Где ты там, царевна? Почему прячешься? Иди к нам.

Девушка вошла. Я посмотрел на неё, и коньяк застрял у меня где-то между зубами и пятками.

Она подошла ко мне, протянула руку, представилась: «Катя», – и улыбнулась.

– Катенька! – рассмеялся, увидев выражение моего лица, мой друг, Барон Фон.



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР ПЕРВОЦВЕТА

Константин Свириденко

г. Екатеринбург

ИГРУШКА

Я остановил машину, когда уже было поздно. Молчаливые сосны, сверху до низу укрытые узорами блестящего снежного покрывала, беззвучно смотрели, как мои несчастные «Жигули», взметая искрящиеся снопы свежей пороши, безуспешно пытаются избежать столкновения. Напрасно! Этот туманный трехметровый куб внезапно возник посреди дороги слишком близко передо мной!

Ноги, следуя многолетнему опыту, мгновенно уперлись в педали тормоза и сцепления, а правая рука пыталась включить заднюю передачу. Иногда такой фокус очень здорово помогает, но сейчас он мне явно не удался! Ребро куба надвигалось неумолимо. Я рванул руль влево, подставляя под удар правый бок машины, в сознании мелькнула искупительная мысль: «Слава богу, один еду!». Но ожидаемого удара не последовало.

С негромким чмокающим звуком мой «Жигуленок» вошел в куб, словно в огромную пуховую подушку, и замер, обиженно взвизгнув, а я, совершенно уже ничего не думая, бросил сцепление.

Я перевел дух, сознавая, что остался цел и невредим, но ещё не понимая, каким чудом. Машина стояла поперек дороги и сквозь лобовое стекло на меня все также равнодушно пялились сонные зимние деревья. Дернул меня черт ночью поехать!

Внезапно я почувствовал знакомую слабость в коленях, ладони взмокли – я всегда пугаюсь после случившегося. «Позднее зажигание», – как пошутил один хороший знакомый. Уняв противный, липкий страх, я повернулся направо и обомлел: этот чертов куб занимал большую часть салона, наискось перерезая своей стороной пассажирские сиденья. Он был полупрозрачен, и контуры салона проступали внутри его субстанции достаточно четкими линиями, чтобы можно было судить о тяжести аварии – машина была не повреждена! По крайней мере, изнутри. Я прекрасно понимал, как выглядят автомобили изнутри в первые секунды после аварии, хотя эти знания мало отразились на моей технике вождения: ездить медленнее я не стал. Как заядлый курильщик не может уменьшить количество выкуренных сигарет, так и заядлый водитель не может ездить тише, чем он привык, особенно на

трассах. Тем более таких, как эта, практически всегда полупустая. И плевать мне, что я живу не в Германии! По русским дорогам тоже можно иногда ездить, если обращать внимание не на кучу ненужных знаков, а просто смотреть на трассу.

Я полез в карман за сигаретами и тут внезапно вспомнил, что положил их в бардачок. Ха! А бардачок-то, он же внутри этого чертова куба! Сразу ещё сильнее захотелось курить. Я уже было протянул руку навстречу неизвестно чему, когда по слабой вибрации машины ощутил, что мотор-то ещё работает! И передача включена! Задняя! Значит, воткнул, все-таки!

Я опустил стекло в двери и глянул на заднее колесо: оно не вращалось. Значит, сработал дифференциал и крутится сейчас то колесо, внутри куба! Попробовал переключить передачу на первую – машина даже не шевельнулась. Вот влип!

Чертыхнувшись, я вышел из «Жигулей» под переливы северного сияния – цветное, зараза, да такое яркое! В этих краях все больше одноцветное, зеленое, а сейчас – надо же! Мой бедный «Жигуленок», торчащий из куба, напоминал памятник водителям-лихачам – не помню, где видел такой. Где-то на западе, по-моему...

Обойдя куб вокруг, я понял, что он не касается дороги – просто висит в воздухе! Что за чертовщина?

Я присел: моя «троечка» исправно стояла на всех четырех точках опоры. Только половина кардана и задний мост утопали в тумане куба, не достававшего до снега несколько сантиметров. Тогда я снова сел за руль, лучше сказать – почти лег, заглядывая под днище: при включенной передаче кардан вращался! Точнее, вращалась та его часть, которая не касалась куба, внутри же этой чертовой штуковины движения не было заметно.

Я не поверил своим глазам и, плюнув на осторожность, полез под машину, не включив передачи. Кардан ровно и уверенно крутился здесь... Но там, внутри?.. Непонятно!.. Немного помедлив, я вынул из кармана авторучку и легонько тронул куб – ничего не произошло. Нажал чуть сильнее – авторучка вошла в эту субстанцию, словно в воду, разве что с чуть большим сопротивлением, и также легко вынулась. Но «Жигули»-то не авторучка! Попробуйте один потолкать машину, поймете сразу. И куда толкать? Задние колеса стояли поперек накатанной колеи: затея безнадежная!

Вздыхнув, я отбросил осторожность и коснулся куба рукой – не холодный, не горячий. Никакой. Словно трогаешь воздушный шарик, наполненный водой, только мягче. Я сунул руку внутрь и коснулся кардана – ТАМ он не вращался! Дьявольщина!

Снова сев за руль, я включил печку и полез в бардачок за сигаретами: тот открывался медленно, словно нехотя, но, тем не менее, через несколько секунд мое упорство было вознаграждено: пачка «Кэмэла» перекочевала из

туманности небытия во вполне уютную реальность и, насколько я мог судить, не потеряла своих вкусовых качеств. Прекрасные сигареты!

Закурил, но делать что-то надо! И я начал экспериментировать, вполне отдавая себе отчет о крайней небезопасности своих опытов. Я развинтил авторучку и, используя её как трубку, попробовал вдуть дым в куб – получилось! Тогда, на всякий случай, перекрестившись, я зажмурил глаза и сунул в эту штуковину голову. Несмотря на то, что я старался не дышать, откуда-то пришло ощущение легкого, неприятного запаха. Нет, не цветы и не парфюмерия – мне трудно сравнивать: я уже говорил, что отношусь к категории заядлых курильщиков, но моря и для меня пахнут по-разному! И даже люди, если они возвращаются из поездки в другую страну, отдают чем-то чужим, так вот и этот запах – он был очень приятный, но чужой! Я чуть прикрыл глаза, всего на миг, и тут же вынул голову, пытаясь осмыслить увиденное.

А осмысливать было что. Если снаружи куб представлял собой белесовато-прозрачную субстанцию, то при взгляде изнутри создавалось полное ощущение того, что ты находишься в небольшой комнате. Четыре стены, в центре каждой из них по большому круглому окну. Такое же окно на потолке и даже в полу, просвечивающем сквозь контуры автомобильного салона. Словно кто-то по ошибке использовал уже экспонированную киноплёнку, и два изображения наложились друг на друга.

Я потряс головой и машинально закурил по новой. Это со мной бывает, хотя сам прекрасно понимаю, насколько пагубна такая привычка. Ну что тут поделаешь! Я с досадой взглянул на сигарету, и тут мне в голову пришла идея проверить воздух или что ещё там, в этом кубе, на присутствие кислорода. Я сунул руку с сигаретой в отнятое у автомобиля пространство, и та задымилась сильнее, стала разгораться. Значит, кислорода там, внутри, даже больше, чем здесь!

И тогда я совершил самый безрассудный поступок в своей жизни: я влез в этот куб, в это туманное привидение, в это черт знает что! Я просто просунул в него ноги, и они ушли сквозь пол салона, как сквозь туман, до нижней стороны куба. Я сунул голову – дышать легко и приятно. Попробовал встать, и у меня почти получилось, но, видимо, в тот момент, когда я пересек границу основной своей массой, я потерял равновесие и упал, хотя трудно назвать это падением. Сила тяжести внутри куба оказалась очень маленькой, и, знаете, куда она была направлена? Ни за что не догадаетесь! К центру куба! Получилось, что я повис в середине небольшой комнаты, барахтаясь в воздухе, как набедокуривший котенок, которого хозяин держит за шкурку, делая внушение. Бог ты мой! Какое изумительное положение! Я не стал долго думать и попытался дотянуться руками до круглого окна над моей головой – пальцы прошли сквозь преграду, но заметное сопротивление толкнуло мое тело к нижнему окну. В голове у меня все перевернулось, верх стал низом,

когда я проскочил вестибулярным аппаратом через центр тяжести, ступни коснулись окна, полупогрузились в него, спружинили, и я полетел в обратную сторону. Все перевернулось ещё раз, зато ускорение позволило мне просунуть руку в окно по локоть – теперь я держался сгибом руки за тончайшую грань между миром куба и реальностью. Сознание начало бунтовать, и, чтобы успокоиться, я решил посмотреть вверх. Точнее, туда, где должен был находиться верх, исходя из призрачных контуров моей машины. Но в этом верху ничего не было видно!

Тогда я просунул вторую руку за эту ненадежную кромку и с трудом протиснул голову в окно. Я даже не удивился, когда вместо ожидаемого северного сияния я увидел ещё один куб изнутри. Он отличался от прежнего только тем, что в центре его висел большой неподвижный осьминог, почему-то ярко-красного цвета. В следующее мгновение я понял, что это просто мягкая игрушка, но от этого мне ничего не стало понятнее. Я перебрался в куб с осьминогом – он оказался сделанным с большой любовью, мягким, почти плюшевым на ощупь. Очень забавный, только глаза у него почему-то со всех четырех сторон. Мелькнула шальная мысль: «А не привезти ли дочери такую прекрасную игрушку?»

Я уже освоился в законах перемещения внутри куба и потому толкнул осьминога в противоположную сторону, а сам, в результате действия реактивных сил, оказался у окна, через которое попал в эту комнату. Уцепившись, как прежде, за грань между кубиками, я дождался, пока осьминог ударится о стену и прилетит ко мне. Я поймал его за плюшевое щупальце и стал возвращаться. Но это оказался не тот куб! Это был вообще не куб, а не знаю что! Какой-то другой мир, нереальный до невозможности, и там, среди чего-то ослепительно-синего с лиловым сидел огромный, красный, живой осьминог! И вид у него был очень недовольный! Вдруг все закружилось у меня перед глазами, ощущения стали просто непонятными. Я только смог понять, что кто-то тянет у меня из рук мою плюшевую добычу, но отпустить её не мог. Рвануло сильнее, в глазах сверкнуло белым, и я оказался в воздухе рядом со своей машиной, в полуметре над дорогой. Через секунду, потирая ушибленный копчик, я тупо смотрел, как буксуют в колее мои «Жигули», потом бросился за руль. Машина оказалась даже не поцарапанной!

Я ехал и думал: «Сколько плоскостей можно приложить к кубу? Правильно, шесть... А сколько трехмерных миров к тессеракту? Вот, вот!» Только за одно мне стыдно – за игрушку. Нехорошо отбирать их у детей. А тот осьминог – я имею ввиду живого – он, несомненно, был ребенок, хотя я не знаю, откуда у меня такая уверенность. Да и сам этот куб, этот чертов тессеракт, был обыкновенным, четырехмерным детским кубиком...



М. Завгородняя
выпускница Иркутского худож. училища
Педагог **А. С. Щипицин**

"Золотой фонд" Первоцвета

Алексей Васильевич Зверев (1913 – 1992) – фронтовик и сельский учитель, защитник природы и страстный любитель ловли рыбы удочкой и, наконец, замечательный писатель Земли иркутской.

Родился в многодетной крестьянской семье, учился вначале в родной Усть-Кудинской школе, семилетку заканчивал в рабочем поселке Иннокентьевском, до войны успел поучиться ещё и на зоотехника. Главную же науку постигал на многотрудных военных дорогах – минометное училище, Курско-Орловские бои, освобождение Украины. Почти год – в госпиталях. После войны – учительство в сельской школе продолжительностью в 36 лет.

Все это вобрала в себя романы, повести, рассказы и очерки иркутского прозаика Алексея Зверева. История глухого сибирского села в романах «Далеко в стране иркутской» и «Дом и поле»; фронтовые подвиги и будни в военных повестях «Выздоровление», «Передышка», «Раны»; любовь к прибайкальским лесам, рекам и островам проникнута публицистические очерки и повесть «Лыковцы и лыковские гости».

Есть у писателя и рассказы о детях и для детей. Сегодня на страницах «Первоцвета» – один из таких рассказов.

Алексей Зверев

ПАНТЕЛЕЙ

Рассказ

Оттого, видно, что нас было много, росли мы безликими. Отец забывал, как нас звать, и называл мужиком или девкой. Мать путала имена и, не вспомнив нужного, кричала: «Эй ты, парнишечка». Каждый старший из детей имел власть над младшими, поощряемую родителями. Посчитайте, сколько было властителей у меня, если я из девяти был восьмым ребёнком. К тому же в голову отцу впало считать меня неродным по той причине, что из всех детей я один походил на мать.

– В тот год я и дома почти не бывал, – кивал отец на меня, – чую, не свиреповской породы он.

Я не успевал исполнить волю старших, и для своей власти над младшим братом у меня не хватало сил. То и дело слышалось в избе: «Санька, подай шило, отыщи иголку, сбегай за дровами, вычисти хлев, нащепай лучины, смети с крыльца, закрой окна!»

Я бегал как угорелый, помня, что замешкаешься – получишь затрещину. По характеру я был покладистый, лучше сказать, так уstraшенный, что часто был предметом увеселительных сцен. Старший женатый брат Нефед подзывал меня к себе и, гипнотически впиваясь взглядом, кричал:

– Беги живо! Скажи, чтоб ждали!

Я бежал из избы и посереде улицы останавливался, недоуменно разинув рот: «Куда, к кому тебя толкнули?» А в окошко глядели толстомордые Ванька, Манька, Митька и иступленно хохотали.

– Что разинул рот, дурак! Беги!

– Куда, братька? – спрашивал я рыдающим голосом.

– То-то «куда»! С реки горсть воды принеси.

Тут я понимал, что была сцена, что можно и расслабиться, можно пройтись с руками назад и даже улыбнуться или всхохотнуть.

– Уродина ты, Санька, – качала головой старшая сестра.

– Будешь безумненький, как копыто поцелуешь, – хохотал брат.

Уродиной меня звали ещё и потому, что верхняя губа моя была рассечена и заросла бледным рубцом. Когда я был поменьше, за своим крестным, старшим братом Нефедом, бегал, как собачонка. Однажды посадил он меня на Серка, старого мерина. Час я на нем просидел, хвастаясь перед всеми братьями. После другой брат, глумясь и предрекая – «что будет», послал меня к жеребенку: «Садись, Санька, на него». Жеребёнок брыкнул и поддал мне так, что я на сажень отлетел и растянулся на плахах. Помню, отец, братья и сестры весело глядели на меня, привезенного из больницы, трогали мою губу, а родитель сказал:

– Гляди ты, чертёныш, выжил!

Мне долго напоминали отцовы слова, отец ухмылялся при этом, считая, какие умные слова высказал он когда-то.

Впрочем, не один я в семье испытывал подобные шутки.

Младшего брата Ваську доводили до иступления прозвищем Кутя. Что

оно означало, мы, малыши, не знали. Но слово это, сказанное шепотом из-за печки, бесило братишку, поднимался вой, старшие пытались узнать, в чем дело, а узнав, хохотали до хрипоты.

Меня прозвали Пантелеем, тем самым, который промотал хомуты, промотал лошадей, хором пели эту песню, в пять рук крестообразно дирижируя перед самым моим носом. Это было жестокое, обидное перечеркивание, и я, ребенок, чуял, как те кресты угольной чернотой ложатся на мое сердце. Я понимал, что я Пантелей, – пропащий человек, самое подлое и низкое создание на свете, которое следует палкой гнать со двора. Я содрогался от одного только взмаха рук и ухмылки старшего брата.

Третьего из братьев звали Еким-Герасим. Тут все знали, что в сельской жил нищий портной с таким прозвищем. Неожиданно для всех старик этот повесился. Событие внесло в нашу семью столько презрительного смеха, столько ядовитых слов было высказано в адрес умершего, что ребяшня избы нашей считала старика гаже соседской суки, бездомно рыскающей по дворам. И приди в голову старшего брата назвать Митьку прозвищем старика!

– Еким-Герасим! – кричал Нефед, и Митька, не имевший ещё прозвища, насторожился. – А! Повернулся, стервец! Прислушаешься! Кто же ты, как не Еким-Герасим. Пойди-ка, Еким-Герасим, сена на стельки принеси.

Иногда Нефед подходил к нему и спрашивал:

– Кто ты?

– Еким-Герасим, – покорно отвечал Митька, и все весело смеялись.

Но боже упаси, если кто из чужих назовет нас прозвищем. Полетят в того

палки, поленья, ухваты, и семейные не остануют, а скажут лишь:

– Лихо работает!

О школе в семье всегда говорили устрашающе.

– Погоди! Семен Семеныч из тебя сделает лепешку.

– Там тебе покажут, как ходить по одной половичке, а на другую не ступать.

– Ох, Санька, Санька, ох, уродец ты мой, – вздыхала мать. – Ну вот скажут тебе в школе: «Лезь в колодещ», – и полезешь? Дома свои, похочут и забудут. Там никто не пожалеет, будут тебя тыкать, будут совать тебя, покорненького, куда не надо. Ну, да только бы с глаз долой. Надоели вы мне все, хоть глаза завязывай и беги от вас куда.

Отец говорил:

– Учил меня один бродяжка, такой вот, как Еким-Герасим. Схватит за ухо и начнет водить по избе. Из глаз искры сыпятся, а кричать не смей. Чуешь – ухо с корнем дерет, а не смей на носки подниматься, не смей руки поднять. За что он, подлец, драл меня?

– Человека загонял в тебя, – говорила мать. – Покорность, смиренность, послушность вгонял. Только вот не пойму: если драть нашего Саньку, что загонять в него? Уж своими силами все загнано.

Никто в школу меня не собирал. Раз утром наелся печеной картошки и исчез из дому. Меня хватились, чтобы толкнуть навоз убрать в хлеву, и не нашли. Вернулся я с тетрадкой и карандашом и долго искал место, куда бы спрятать драгоценный подарок учителя.

– Глядите-ка, он в школе был! – удивился брат.

– Неужто началось, – огорчилась мать. – Ещё огороды не убраны.

– С ума сходит учитель наш, – сказал отец. – Показывай, что написал.

– Потом покажет, – сказал брат, – сыпь во хлев, да как следует вычисти.

Я выгребал навоз и прислушивался к улице, с нами учитель обещал сходить в лес. Я услышал щебет первоклашек, бросил лопату и выскочил за ворота, а вдогонку кричали:

– Куда ты! Вернись! А навоз! А дрова! А огород!

Я ещё не нагледелся на учителя в классе. В лесу я забегал вперед и глядел в глаза ему, осматривал его опрятный костюм. Мне казалось чудом, что седой и старый человек снизошел до нас, ребятишек, и разговаривает с нами запросто. Его можно спросить, и он ответит ласково и тихо, и так тепло ляжет его рука на твое плечо. В те дни казалось, что засветилось для меня два солнца, одно на небе, другое рядом – и какое из них светлее? И потом, когда спать лег, не виделся мне в глазах ни лес, ни мальчишки. Чужалось какое-то радостное парение, виделась седая голова и голубые ласковые глаза.

Но и эту зиму я больше работал, чем учился. Я уже знал свою работу и делал её исправно. Кроме своей работы было много такой, которая получалась в наказание. Особенно часто наказывал меня старший брат Нефед, словно был ко мне приставлен для этого. С каким-то злорадством заставлял он меня щепать лучины, растянувшись на скамье и следя за мной.

– А ну! Что перестал? – кричал он, если я ковырялся в ладошке.

– Занозил, – показывал я руку.

– Эки нежности! Что из тебя получится, Пантелей, не знаю.

Я ненавижу его, но щепал и щепал лучины до потемок, все ждал, вот уйдет он куда-нибудь; знал, что и уйдет, легче не будет, на его место ляжет другой брат и повторит волю старшего.

— Ладно, кончай, Пантелеюшко, — скажет брат, и ты сунешь под печку вязанку лучин, клубком свернешься на горячей печке и уснешь. Работа делилась на легкую, домашнюю, и тяжелую, заимочную.

Меня барином прозвали в семье, когда на целое лето запрягали водиться с племянником. Крепко запомнилась эта работа.

Как только поднималось солнце, во двор выбегала невестка с удилищем, шуровала по сеновалу или, не добудившись таким способом, залезала и срывала с меня шубенку.

— Хитрец проклятый! Семья пашет, а он спит. Притаился небось. Марш к зыбке!

Не умывшись, я хватался за зыбку и, если укачать племянника не удавалось, кормил тюрей, сажал на горшок, угнездывал его в тележке и возил по селу в обществе таких же нянек. Глядишь, ребёнок голову свесил, и ты уснешь сразу же, коснувшись теплого бревна. Вокруг гвалт, а ты спишь, и разбудит тебя крепкий шлепок невестки.

— Окаянный! Вот ирод навязался. С таким пустяшным делом не сладить! Вези его! Катай его!

Опять заскрипит тележка, и опять, наклонясь к ней, катаю я племянника до вечера. Соседи смеялись:

— Кончай работу. Вон и Санька соскучился на своем драндулете.

Я всегда хотел спать. Я мог спать сидя на земле, на бревне, наваясь на тележку, даже стоя вдруг чувствовал,

что засыпаю. Девчонки замечали мое засыпание и кричали:

— Пантелей-то умирает! Ложись уж, чучело, а мы посмотрим.

Спать было нельзя. Из ворот подглядывала невестка. Я видел, что няньки запасались бутылочками зеленоватого настоя. Разбухшие головки мака плавали в нем. Горластому ребёнку они совали соску в рот и давали глотнуть раз-другой. Повяньгав немного, ребенок засыпал, не чуя на лице черных скопившихся мух. Брат где-то прослышал, что мак — отравка, и запретил пользоваться им. Я завидовал нянкам. Раз выпросил у них бутылочку и вдосталь напоил племянника, отвез его на край села в пышные заросли крапивы, увидев, что он спит, сам лег подле тележки. Видать, спали мы долго, потому что успела схлынуть жара, и в полусне я чуял идущую прохладу от земли. Крепкие руки схватили меня и подняли на ноги. Я шмыгнул в крапиву, как в кипяток. Плакать я не смел, лишь плясал на одном месте и издавал звук «фу-фу-фу», словно хотел сдуть огонь ожогов. Невестка схватила ребенка, брат тележку, и убежали, а я упал на землю и терся об неё. У меня ещё горели уши, когда я вернулся домой. Ребёнок не просыпался. Брат встретил меня со знакомой бутылочкой.

— Пей, негодный!

Я отворачивался, как лошадь, когда ей суют несъедобную траву.

— Пей, подлец! — кричала невестка.

— Хватит бы мучить-то, — вступилась мать.

— Замолчь!

Усеченное слово «замолчь» применялось в нашей семье в минуту наивысшего гнева. Если оно действовало на мать, то меня ввергало в

трепет. Я взял из рук брата посудину и сквозь коровий кисло пахнувший сосок вытянул маковую запарку. Все уставились на меня, кто со злорадством, кто со страхом. Но оттого ли, что успел выспаться, от крапивных ли ожогов, или оттого, что был очень напуган, я долго не засыпал. Невестка с затаенной ненавистью глядела из окна, остальные отошли от меня, как от зачумленного, и похохатывали. Я же знал, что ждали домашние, и бодро похаживал по двору, швырял камни в воробьев, посвистывал и подмаргивал.

По телу разлилась истома, меня как бы влекло, воздымало вверх. Стало легко, беспечно, явились дерзость и любопытство: что будет дальше со мной? Я много раз слышал про лунатиков. «Дай стану лунатиком», – отчаянно подумалось мне. Сперва я забрался на заплот и попробовал постоять на нем – получилось. Затем поднялся на козырек калитки; кося глаз на окна дома, перебирался на ворота и, заложив руки за спину, прошелся по ним. Я слышал, как хлопнула сенная дверь и выскочила на улицу мать. Она махала руками, кляла меня и требовала сойти, звала на помощь братьев моих, но они в пустом любопытстве тарасили глаза. «Что скажете дальше?» – подумал я и ступил на сарай. Подошвы ног плотно прилегли к теплому дранью. Я добрался до крыши дома, а там и до князька. Выше ничего уже не было. Я стал у края, на самый конек, трухлявый и потрескавшийся. Мне кричали снизу, грозили кулаками – я ликовал: хоть на минуту я стал сильнее, смелее и выше всех домашних. Я даже постоял на одной ноге, а другой как бы попробовал шагнуть в пустоту.

Отец сперва тоже что-то кричал, потом махнул рукой, толкнул в сени мать и ушел сам, сказав:

– Его там, видно, сам черт держит.

– Вот он что, Пантелей-то, значит, вот он уродина – уродина и тут, – проворчала невестка и ушла за отцом.

Скоро плюнули на меня все и ушли, не дождавшись, как я слезу с крыши или, сморенный маком, упаду на навозную кучу. Я же слез незамеченный, под сараем забрался в лошажью колоду и, угнездившись в сенной трухе, уснул. Этот раз я спал всю ночь, спал до полдня и проснулся по собственному желанию, не найденный.

Я радовался тому, что как нянька потерял доверие, хотя водился до самой осени. Усерднее стала поглядывать за моим нянчаньем соседская девчонка. Племянник подрос, стал на ноги, и я радовался, что избавлен от непосильной ноши. В одно утро невестка полезла на сеновал и меня не обнаружила. Она искала меня по стайкам, по всем углам двора, чердак обшарила. Все приготовились к взбучке, но я, как и тот год, вернулся из школы с карандашом и тетрадкой.

– Учиться, шельма, ходил! – подскочила ко мне невестка и хотела было в ухо вцепиться, но отец отвел руку её, сел на табурет и долго глядел на меня загадочно.

– Пошто не сказал, что в школу ушел?

– На што? – спросил я и взглянул в глаза отца: они соглашались со мной.

– Шабаш! – сказал отец домашним. – Учиться пошел. Не трожьте. Сами поводитесь.

Невестка капризно пожалала плечами, брат скосил на меня глаза.

– Ладно, Санька. Купим мы тебе катанки. Купим, жди!

Катанки мне все-таки купили. Это были первые за мою короткую жизнь катанки. До того я довольствовался обносками. Я словно обезумел, надев обнову. Катанки, как игрушки, красовались на ногах. Я дико тарасил глаза, хотелось прыгать, хотелось как-то выразить радость, но я страшно боялся: радость моя вызвала бы раздражение старших, слова мои насмешливо повторялись бы на разные тона. Я клял бы себя за то, что так глупо выпалил их. Подальше от лишнего щелчка, пинка, оплеухи. Словом, я не выразил радости перед домашними. Зато, как вырвался из дома, дал волю своим чувствам: я ставил ногу и боком, и прямо, и на пятки заглядывал, всяко было красиво. Я думал, мне позавидует вся школа, и пришел на час раньше, я носился по школьной ограде, кувыркался в сугробах, а в классе прыгал по партам и такой громоток устроил, что из своей комнаты вышел Семён Семёнович и остановил меня:

– Свирепов! Что с тобой?

Я глядел учителю в глаза и тоже удивлялся: ужели он не видит, ужели так и не скажет ничего?

– Да! У тебя катанки новые! – поднял брови учитель.

– Ну! – Поднялся я весь к нему, оглядел себя и не видел ни штанов с заплатками, ни рубахи, продранной в локтях, все заслонили мне катанки и великий праздник на душе. Вот Семён Семёнович порадовался. Видать, особенные они у меня.

Скоро класс наполнился ребяташками. Я разувался и совал им катанки померять.

– Братька мне купил! – кричал я звонко.

На уроке я заглядывал под парту, учителю отвечал рассеянно, а как тот попросил сочинить задачу, я и задачу сочинил про катанки. «Было у мужика пятьдесят рублей. Половину он отдал за шубу, пять рублей за гвозди, остальные потратил сынишке на катанки». Я понял, что не рассчитал, когда поднялся гомон в классе.

– Твои катанки и пяти рублей не стоят!

– Стоят! – оспаривал я. – И дороже стоят. Попробуй такие найди!

Скоро и дома узнали о цене моих катанок. Старший брат Нефед зубоскалил:

– Двадцатки ты сам с головой не стоишь! Всего пятак, и то много.

О своей цене я никогда не думал. Но цену мою, как и цену одноклассников, хорошо знал Семён Семёнович.

– За что же тебе, Саня, валенки купили? – спрашивал он после уроков.

– Я нянчился, – ответил я.

– А меня все Пантелеем зовут, – жаловался я учителю.

– Слышал. А ты вот что помни: Пантелей – это хорошо. Ты стихов Никитина не знаешь, а Пантелей труженик был, жил славно, да беда за бедой в окошко к мужику стучалась, вот и запил. Но Пантелей – умный мужик, все перенес он и где-то теперь живет в славе и достатке. Пора такая, власть такая пришла, чтобы Пантелею нашему легче стало. Кличут тебя домашние так по глупости и незнанию. Ты гордись этим именем. Стихи эти я тебе сейчас расскажу. Слушай-ка.

Я запомнил и стихи, и слова учителя. Я полюбил своего Пантелея и, когда мне бросали это слово, я не

обижался, чем вызывал у домашних недоумение.

На другое лето я вроде бы опять нянькой стал. Только водился теперь с утятами, маленькими желтенькими комочками. Домашние рассудили так: в поле есть бороняги и пахари. Куда с пользой пристроить этого? Раз июньским утром выпустили из лукошка утят. Они пухлыми шариками скатились к воде.

– Паси, – наказывала мать. – Да не будь зевакой-Пантелеем. На небо поглядывай чаще. Пуще всего берегись вороны и коршуна.

Я остался один и затосковал было, но к речке пришла соседская девчонка. В няньках мы были с ней в то лето. Ольга была усердной пастушкой: подол весь вымочила, рыскает по болоту, коров и свиней отгоняет, а за небо в ответе я. Незаметно Ольга работу в игру превратила: в корзинке её – пеленочки, одеяльца утят. Больного утенка она в тряпочку завернет и к доктору принесет. Доктор – я, бестолковый доктор, больше по Ольгиным указкам действую. Лекарства в рот толкаю, уколы делаю. Ольга утенка в зыбке качает, у того рот открыт и голова запрокидывается. Ольга бранит доктора и трогательно причитает. Мы в могилку кладем утенка, в холмик крест из щепочек втыкаем. Так увлеклись похоронами, что не заметили, как прилетел коршун. Камнем упал он в утячий табунок, вот уже и поднимается тяжело. Я хватаю горсть галек и швыряю в хищника. Напугал-таки вороватую птицу. Упал утенок в лужу, побарахтался с минуту и затих. Опять похороны, опять причитания по убиенному. К вечеру на нашем птичьем кладбище пять крестиков.

– Если так и дальше пасти станешь, скоро утят не будет. Что делать, отец с ним? – устрашающе спрашивает Нефед.

– Отвозить покрепче, чтобы лучше доглядывал.

– Хилые они, – говорю я.

– Сам ты хилый! Куда ни поставишь, все клин да колода.

Я понимаю, что если так мирно говорят, дубасить не станут. Утро убеждает, что вина не во мне. В пригоне три утёнка лежит лапками кверху. Пока утята оперились, табунок уменьшился наполовину.

– Кому доверили утят, Пантелею Ивановичу, – шипел Нефед. – Увидите, к Ильину дню по всем панихиду служить будем.

– Кого же поставишь к ним? Васька мал, Митька боронит, – говорит мать. – Поучить надо Пантелея.

Я давно был безразличен к прозвищу, но этот раз что-то поднялось во мне. Я закинул руки за спину и гордо заявил:

– А Пантелей вовсе не ругательно. Пантелей – это хорошо. Он добрый и умный человек.

Я говорил и захлёбывался от волнения. Тотчас домашние окружили меня, потому что такого от меня не слышали. Голова моя помутилась. Мне казалось, что в доме все взвихрилось и поднялось против меня. Петух за окном испуганно воскликнул: «Как это так!», собачонка проворчала: «Не ер-р-репенься!»

– Ты откуда это взял, что Пантелей – хорошо? – спросил Нефед, держа меня за ухо. – Уж оттого, что ты Пантелей, имя это позорно.

– Так Семён Семёнович говорит, – выпалил я в отчаянности.

– Семён Семёнович нашему не указ, щенок, – сказал брат и потянул меня за

ухо к полу. — Говори, подлец: «Я, Пантелей, самый гадкий человечешко».

Я смертельно боялся брата. Я весь сжимался при виде его глаз. Я не знал счету его затрещинам и перевёртам.

— Я, Пантелей... самый... человечешко.

— Какой! — дергал ха ухо брат.

— Самый... самый, — повторил я, не в силах сказать унижительное слово.

— А вот тебе! — дал брат затрещину. — Чтобы вспомнил!

Я видел братову руку, которой он ударил меня, хотел её укусить, но я боялся шелохнуться. Я лишь украдкой взглянул в зеленые глаза его, они, как крапива, жалили меня. Потом в отцовы глаза взглянул — они были такие же. Материны — равнодушно-усталые.

— Да скажи ты, окаянный! Отвяжитесь от него! Вишь, упрямец! Вишь, тоже человек! О человеке заговорил, скотенок! Отвечай! — дергала за рубашку мать.

— Гадкий! — со стоном вырвалось из меня слово. Трудно было понять: это слово обидное я выдал о себе или брата обозвал им.

— То-то, гадкий, — утешился брат. — Марш пасти утят!

На крыльце мстительное чувство меня охватило снова. Я заплясал и дико закричал:

— Гадкий! Гадкий! Гадкий!

И к речке бежал, припрыгивая, все кричал:

— Гадкий! Гадкий!

Петров день, на который приехала с заимки семья, был рубежом. За ним жизнь моя пошла иным образом.

Я пас утят, бродя по лужам, и видел, как ребяташки толпами шли к реке. До меня доносился глухой всплеск воды, визг ребятни, зычный хохот парней. Я был один, так как

Ольга праздновала и утята её сидели под амбаром. Когда Родька и Вадька, соседские приятели поманили купаться, я пошел, не оглядываясь, оставив ненавистных утят. Словно кто снял с души все обиды и печали, я беспечно бултыхался в воде, уходил столбом вглубь, бегал, взвизгивая, по лугу. Едва согревшись на солнце, мы потянулись к лесу, одолевая крутую гору. Шаля, гонясь друг за другом, мы уходили все дальше в лес. Мы залезали на деревья и зорили вороньи гнезда, гонялись за бурундуком, лакомились редкими ягодами земляники. Когда прошли весь лес и увидели пыльную дорогу, мы вдруг вспомнили про домашнее.

— Что я наделал! Утят, поди, коршун перетаскал, — спохватился я.

— А я с сушила убежал! — ахнул Родька.

— Я Нюрку оставил в зыбке, — запечалился Вадька.

Огородами я пробрался к речке, обшарил всю траву и утят не нашел. Я колебался, идти ли домой, хотя не было случая, чтобы я ночевал где-то. Я открыл ворота и тотчас встретился с Нефедом.

— Сволочина проклятая! Я покажу, как делать назло, — подскочил он ко мне. Вывалились на крыльцо домашние. Мать сунулась вперед.

— Дайте я сама его! Я с ним расправлюсь, с идолом!

Она хотела умеренными средствами расправиться со мной. Отец за руку отдернул её, забросил руку назад и с ухмылкой ждал чего-то. Нефед ухватился за тонкое запястье мое и поволок к предамбарью. Я укусил ему руку, вырвался и запрыгнул на забор. Домашние думали, что я повторю прежнее: залезу на крышу, откуда меня не взять. Я же спрыгнул на табачную

грядку, откуда понесся по огородам к кладбищу и там притаился за пряслом. Кто-то вдруг облизал мое лицо. Я вскочил, чтобы бежать, и рядом увидел нашу собачонку Мушку. Я дал ей обласкать себя, огляделся и пошагал в вечерний темнеющий лес.

Я шел по темному лесу, натываясь на деревья, и не от страха – от обиды все во мне зацепенело. Меня царапали сухие ветки, резал ноги папоротник, я шел как заведенный, не зная, куда иду. Ворона шарахнулась над головой, захлестала крыльями по веткам, каркнула единожды и приткнулась к вершине. Раздался пронзительный лай – это догоняла Мушка. Я присел под кустом и обнял собаку, она свернулась калачиком подле меня, словно сказала: «Ложись-ка и ты. Вовсе не к чему дальше идти». Я знал, что где-то впереди есть лес, большой, глухой и недоступный. Там я укроюсь от страшного дома, но все это будет завтра. Я устроился поудобней на сухих иглах под сосной и заснул. Когда я проснулся, было уже светло, Мушка сидела передо мной и нетерпеливо повизгивала. Я вспомнил вчерашнее и, словно кто схватил за горло, не мог вытолкнуть воздух. Потом навалилась на меня икота, и мне подумалось, что так я плачу. Я испугался странного плача и заревел по-настоящему. Вспомнилось обычное утро дома. В такой час отец мажет телегу, а Нефед бежит в луга за лошадьми. Дружно поднимаются остальные, и скоро застолица посапывает, побрякивает ложками.

Я не ел со вчерашнего утра и почувствовал, что голоден ужасно. Я стал обдумывать, как достать еду, не побывав дома. Разве забраться в крайнюю от леса избу Егора Кузова. Я полз по глубокой борозде, между жердями пролез в ограду и заметил, что

пробой заткнут палочкой. В чулане, к великой радости, стояла коврига хлеба. Я схватил ее и выскочил в переулочек. Тут и увидела меня мать.

– Санька! Санька! — закричала она во всю головушку. – Держите! Ловите его, окаянного мучителя!

Схватив ковригу обеими руками, несся я к лесу. Вот уж скотское кладбище, вот и канава, перемахну ее – и опять в лесу. Из-за сосенки мне напересек вышел Семен Семенович. Ничего не стоило проскочить мимо хромого учителя, но ноги мои подкосились, коврига выскользнула из рук и покатила в овражек.

– Вот и встретились, вот и хорошо, – сказал учитель и потряс меня за плечи. – Сходи-ка, герой, подними хлеб.

На разговор и мать прибежала, хотела было отвозить меня, да учитель загородил меня спиной.

– Нашлась потеря, принимайте, – весело сказал учитель, когда мы вернулись домой. – Умыться бы ему надо.

– Баню ему надо хорошую, — сказал отец.

– И пусть выспится, – добавил учитель.

Спать на сеновал меня не отпустили: боялись, убегу. Я залез на холодную летнюю печку и уткнулся на пыльной копне разной рухляди. Сочтя, что я уснул, отец насмешливо спросил:

– Вот так и живем, Семен Семенович. Поучи нас, дураков, уму-разуму.

– Поучу, на то мы учителя, – ответил Семен Семенович. – Ты в партизанах был?

– Ну! А что?

– За свободу воевал?

– Вроде бы.

– Так какого ты дьявола режим-то старый в семье устраиваешь! Ты не свободных людей, рабов у себя растишь. Грубиянов и оскорбителей воспитываешь. Зло, а не добро в души их вселяешь.

– Ты нашу жизнь не трожь, учитель, – с угрозой сказал отец. – Она не касаема ни для кого. Как можем, так и живем. В том есть наша извечная нутренняя воля.

– Руки бы меньше прикладывали к детишкам, не то и в сельсовет приглашу.

– Рушить наши порядки будешь?

– Нет, вмешиваться стану, вот же ведь сижу у тебя и советую. Так и всегда, где касается детей, не умолчу. На дороге, в нардоме, в избе вашей – везде говорить стану. И не отсмеивайся, Карп Иванович, не вороти взгляда на сторону.

– Да что ты власть, что ли, мне какая?

– Власть, Карп Иванович. По детям я тут власть самая главная.

– Хватит нам с тобой толковать, – огрызнулся отец. – Детишки в школе – делай с ними что хочешь. Детишки дома – власть твоя кончается. На том мы и порешим.

– Разговоры наши только начались, Карп Иванович.

Пока спорили, кто-то из наших спустил с векши собаку. Серый волкодав носился по двору и, как вышел учитель на крыльцо, бросился к нему, зарывав. Отец отпихнул его ногой, спросив учителя:

– Страшновато?

– Да как сказать, – ответил Семен Семенович. – Кусан ведь я, братец, кусан. Хром-то отчего?

– Хо! Хо! Хо! – глупо захохотал отец и повел собаку к конуре.

Я опять было сунулся на печь, отец за ошкур меня задержал и, к дверям подведя, вожжи снял.

– Снимай штаны! Живо!

Я сжался, готовый ко всему, но и заметил, что без злобы, покойно отец держал вожжи в руках, какая-то досада морщила его лоб. Он оттолкнул меня, вожжи бросил на лавку и, матерясь, вышел из избы.

Я ходил мимо школы и видел учителя в огороде, во дворе школы, на горке, мне хотелось подойти к нему и сказать: «Здравствуй, Семен Семенович!» Я кончил школу год назад и был в том возрасте, когда дома еще не полный работник и уже не ученик. Меня мучили скрытность и молчаливость – свойства, которые долго подкрадывались ко мне и, наконец, овладели. Когда я видел школу и учителя, что-то чистое; недомашнее заглядывало в меня, хотелось радость выразить шумно, и знал, что сделать это не смогу. Я шел в потребиловку за керосином или спичками и заходил, как случалось часто, с огородной стороны к школе. Я припаивался лицом к стеклу и видел в классе счеты, карты, плакаты, встречался взглядом с учителем и убегал. Но раз крикнул:

– Здравствуй! Я даже не назвал имени учителя. Глаза Семена Семеновича вспыхнули, он сунулся к окну, и я, сколько хватило прыти, понесся к речке. На мостике оглянулся и увидел учителя, он махал рукой, подзывая:

– Свирепов! Эй, Свирепов!

Наш брат, неученик, то и дело вешался на окнах школы, показывая язык и гримасничая. Я побаивался, что

мне сейчас попадет. Как-то переламываясь, вихляясь извинительно, я перешел мостик и уходил, оглядываясь на учителя. Семен Семенович нетерпеливо сорвался с места и пошагал ко мне, жестом прося, чтобы я подождал. Я остановился.

– Ладно, – махнул он в сторону школы. – Подождут, задачку решают. А как ты поживаешь? Что делал летом?

Я рыбачил с отцом, пас скот, косил, пахал, но ответил только подергиванием плеч.

– А как дома? Все в порядке?

Вместо ответа я стукнул кулаком по жерди прясла. Бойким взглядом он поймал кулак мой и улыбнулся той долгой улыбкой, какая всегда предшествовала его слову.

– Вижу, все страшное позади. Учиться не думаешь? Ну?

Нетерпеливое слово «ну» напомнило урок.

– Дак классов-то больше нет, – сказал я.

– Дальше! В городе!

– Много нас, – махнул я рукой.

– Многовато, – зачесал затылок учитель. – А в сторожа ко мне пойдешь?

Предложение меня рассмешило. В сторожах, пока я учился, была старуха Паша, глухая, суетливая, обижаемая ребятами. Она уехала к сыну в город.

– Чего тут смешного. Работать будешь, зарплату получать. Как в окошке увидел, так сразу подумал, тебя возьму.

– Отец не отпустит, – уклонился я.

– С отцом я поговорю.

Мне было приятно, что учитель говорит со мной, как с равным, руку на плечо положил и к пряслу, как я же,

привалился, нос к носу придвинулся ко мне и шепнул:

– Зачем к окошкам-то липнешь?

– Интересно.

– Что ты интересного увидел?

– Учите.

– Заходи прямо в класс и слушай.

– Интересно как-то, – твердил я свое. – Учился, ничего завидного не было, а тут гляну – учите. И парты, и доска. Вроде бы родное что там осталось.

Учитель хлопнул по полам пиджака и кивнул в сторону школы.

– Не усидели! Вывалили всем классом! Ладно, побежал, а ты подумай. Черт ее знает, может, это станет началом судьбы твоей.

– В сторожах-то?

– Вот затвердил. Приходи, – крикнул уходя.

Каждому встречному хотелось передать новость. Четверть с керосином поставил в сенях под лестницу, спички сунул в печурку и тотчас заявил домашним:

– Хватит дармоедом звать. Пойду в школьные сторожа.

– В сторожа! – удивился Нефед и уставился на меня, как на полоумного. – Тебе одна дорога – в сторожа. Леня на пашне работать.

С невесткой они давай хохотать надо мной, совлекли на смех всю орду семейную. Такой гогот устроили, таких предреканий наговорили.

– Отвалит тебе учитель зарплатищу, – смеялась мать. – Куды деньги девать.

– Сынок на заработки идет. Нам, старуха, облегченье.

– И пойду, – настаивал я.

– А ну замолчь! – цыкнул Нефед и обратился к жене. – Сходи-ка к учителю. Узнай, что там. Может, и

верно, сторож нужен. Тебя устроим. Беги.

Невестка собралась живо. Полушалок на голову, и того достаточно, чтобы до школы добежать. Вернулась покрасневшая, брезгливо уколола меня взглядом, а для всех хлопнула руками и раскудаhtалась:

— Эко, отлет, Пантелей-то наш. Он уже был там и договорился. Хромой-то черт говорит: «Мне его надо!» Смотри, Нефед, братец-то дороже меня оценен.

— Никуда не пойдет, — решительно сказал отец, будто меня тут и не было. — Пусть и ноги поломают за плугом. Пусть дома сполна сладкого отведают.

— Отведал уже, — насмелился я возразить.

На меня в пять ртов зарычали:

— Чего ты отведал?

— Где ты нюхал трудного!

— Кой черт из тебя будет, коли по сторожам пойдешь!

Чтобы я тотчас не убежал, мать с прялкой к дверям придвинулась. Я сел к окну и давай постегонку сучить. Стащил с себя чирок и заплату пристегал. Старшие перестали нудить, расползлись по делам. Я чинил обутки, выжидая случая, когда меня забудут окончательно, и не дождался. Нефед дернул за рукав и повелел собираться на гумно.

— Да не замерзнешь, — сказал он, когда я взялся за пиджак.

Уверенный, что я догоню, брат споро зашагал вдоль улицы. Я повернул в другую сторону и сколь мочи было побежал к школе. Заскочил в калитку, в темном коридоре нащупал ручку и крикнул, открывая дверь:

— Семен Семенович! За мной братька бежит!

Учитель вышел в коридор и спокойно шепнул мне:

— Заходи в мою комнату.

Я прислушивался, как учитель толковал с братом.

— Нефед Карпыч! Заходи, заходи. Я скоро урок кончу.

— Тут где-то Пантелей наш прячется, — низким голосом спрашивал брат.

— Пантелей? Какой Пантелей?

— Санька наш. В сторожа к вам метит, подлец.

— Звал, звал в сторожа. Где же он, поджидаю.

— Не отдадим мы его. Бабу мою Дашку берите. Дашка аккуратная. Зачем парнишку от хозяйства отрывать.

— Хорошо. А как у вас с поросятами? — спросил неожиданно учитель.

— На зиму, падла, опоросилась. Двенадцать привалила, а куда теперь с имя?

— Покормите — и на базар. Битыми ососочками и продадите.

— Значит, не был?

— Саня? Обещался.

— И примете?

— Что делать? Принять надо.

— Так, — протянул брат и хлопнул дверью.

Скоро все село узнало:

— Санька в сторожа подался. Позор Карпу!

Сам я переживал дни необычайного обновления, словно с меня сползала старая кожа. Я носил дрова, бегал за водой, подметал коридор, крыльцо, двор. Вечером, как только уходили ребятишки, я затапливал печи. Блики огня падали на плакаты, карты, таблицы. В классе было торжественно и тихо, и казалось, что я приобщен к чему-то таинственно-

прекрасному. Я вроде повзрослел сразу, походка стала прямее и увереннее, взгляд смелее, в голосе крепость появилась. Но самую большую радость дарили вечерние беседы с учителем. Я уже слышал, как Семен Семенович покашливал, значит, оторвался от стола, значит, «свалил дневные тяготы», как он говорил. Сейчас он выйдет в коридор и потянется, по-стариковски медленно присядет раз-другой, разминаясь, и распахнет дверь класса. Пройдет по мерцающим пустым рядам парт, мурлыча под нос «Сердце красавицы склонно к измене». Я сперва думал, что ему скучно со мной. Жена его, Дарья Григорьевна, учительствует в соседней деревне Заимках, потому что тут нет свободных классов. И хотя деревни рядом, видятся они редко. Я раз насмелился спросить, не скучает ли он. Учитель подсел к открытой печке, и я заметил, как тепло заулыбались голубые, с маленькими четко обозначенными зрачками глаза.

– Скучать-то некогда, Саня.

Имя мое, как мне казалось, произносил он ласково. Впрочем, кроме учителя никто меня Саней не называл, а Санька в доме нашем звучало обидной, привычной кличкой, как слово Пантелей.

– Ты видишь, Саня, как скучаю я. С утра до вечера такое веселье.

– А вечером молчите, будто и нет вас.

– Я покажу тебе, над чем я молчу. Пойдем-ка.

Учитель повел меня к себе, легонько касаясь моей спины. На столе нащупал коробок спичек и зажег лампу. Оттого, что стекло сбоку заклеено, огонь был красный и слабый, и стопы книг и тетрадей на столе бросали от себя блеклые расплывчатые тени.

– Вот тут, Саня, и попробуй поскучать. Не то слово, не скука, а как бы назвать тебе, великая горячка, натуга каждодневная не покидает меня. Так, Саня, навеселишься, что и ночью о том же во сне видишь. Знаешь, Саня, есть особые учительские сны. Их, кроме учителя, никто никогда не увидит. Веселье-то наше в чем: сидишь и красным карандашом правишь, а в душе то радость, то огорчение, то в самый настоящий гнев войдешь. И что ни тетрадь – стоит перед тобой новый парнишка и плачет, и улыбается, шалит. Эх, думаешь, сопливый ты мой народ. Эх, озорная армия. Долгие годы ходить мне с вами в походы. Вот, Саня, и воюю с ними и за них каждый день.

– Все одни и одни вы тут, – сказала я.

– Не один. Никогда не один. Это кажется так – один. Если кто из нашего брата почувствует одиночество, отвяжись, убегай, только не тяни. Убегай скорей. Тут привыкнуть нельзя. Тут надо прирасти душой и сказать себе – это мое. Я тебе расскажу, дружок был у меня, учились вместе. Романтик такой: «Давай в глушь, давай, подальше, мы сеятели», – и все такое прочее. Поехали мы с ним в глушь. Тошно было глядеть на него. С урока вернется в мелу, в чернилах, бледный, издерганный, в журнале клякс наставит. И пошло у него: «Мерзавцы! Подлецы! Да я их, да что они, изверги, делают со мной!». Я говорю: «Довольно, Федорович, бросай это дело и езжай в город. Найди дело по себе, где романтика сама в руки лезет».

– «Уедем, уедем!» – зовет он меня. Я говорю: «Мне бог иных талантов не дал, как быть учителем. Остаюсь».

– И не скучали? – спросил я.

– В скуке ли дело? Есть такие люди. В городе театры, музеи, музыка, а их в лес тянет. И тут только, в лесу, глядишь, ожил человек, и красавец-то он какой, душа-то у него какая! Главное в нашем деле – ровное состояние души, воспитание невзыскательности для себя и умеренности во всем. И главное вот еще что: ты слышишь, как бушует ветер?

– Ну! — сказал я.

– Унять его можешь?

Я пожал плечами.

– То-то, что нельзя. Детишки – это вешний ветер, унять их нельзя. Но и ветер мельницы крутит. Так и ребячью прыть на пользу можно направить. Вот какой закон я для себя открыл.

– А вчера вы сердитыми были, — сказал я.

Учитель нахмурился, но тут же внимательно поглядел на меня.

– Ишь ты, какой приметливый, — сказал он. — Бит бывал и оскорбляем, потому и запомнил. Да, прогнал мальчишку из класса. Надо было.

– В третьем классе и меня за ухо вывели в коридор, — напомнил я.

– Полно, Саня, считать грехи мои. Я не святой.

Учитель поднялся и ушел к себе в комнату. Закрыв печи, я лег на кухне и долго думал о Семене Семеновиче, о нелегкой его работе; неприятно вспоминалось, как он смутился передо мной. Но он встал раньше меня и бодро крикнул:

– Проспали, Саня! Слышишь, как возьтятся на крыльце, того и гляди с петель сорвут. Открывай сорванцам.

Семен Семенович в тот вечер как бы открылся передо мной новой стороной жизни, той, в которую заглянет не всякий. Мне она открылась,

и я благодарил старика за доверие. С этого дня он стал для меня роднее, и если до того он приглаживался к моей жизни, то теперь и я становился зорче к его судьбе. Мне стал понятнее его интерес ко мне, ничем не приметному парнишке, каких он учил сотни, может, тысячи. В тот вечер он как бы выговорился сполна или, быть может, смущен был своей откровенностью – мы неделю не беседовали с ним. Мы в одно время поднимались по утрам. Я уходил за водой и наливал ею бачок и умывальник. Затем я варил картошку, и мы торопливо ели ее, политую постным маслом. На две смены впрягался учитель и на час выходил подышать воздухом. Под вечер садился за проверку тетрадей. Скоро приходили ликбезники, и начиналась третья смена. В десять часов освобождался он от трудов и тихо высвистывал «Сердце красавицы», довольный итогами дня. Раз он остановился передо мной, расставив ноги и уперев в бока руки.

– Слушай-ка, у меня идея, браток, — сказал он весело, за плечо подвел меня к столу и усадил. — Будешь учить ликбезников?

Я не ожидал такого предложения и растерялся, конечно.

– Я серьезно говорю, Саня. Грамота тебе шла хорошо. Где затруднишься – а я зачем? Не подумай, что нагрузку хочу свалить на тебя. Я конь дюжий. Нет, черт возьми, это здорово бы! Александр Карпыч – звучит-то как!

– Я все забыл, — сказал я.

– Вот и надо вспомнить. Я поговорю в сельсовете, думаю, согласятся, а ты не отказывайся. Это ведь для тебя шаг, и шаг значительный.

— Была не была! — махнул я рукой, соображая: получится — хорошо, не получится — хуже от того не стану.

Я домывал пол в классе, когда ко мне быстрым шагом подошел Семен Семенович.

— Все уладилось. Урока два посидишь у меня, поприглядишься и начинай.

Я оглядел свой наряд, и учитель заметил это.

— Мы так сделаем. Я кончаю занятия и отдаю тебе пиджак. Не беда, что великоват. Купишь со временем. Ты не робей, главное. И не выказывай, что мало знаешь. Помни, что ученики твои вовсе неграмотные. Понял?

— Ага, — ответил я привычно деревенским словом. Учитель громко захохотал, обнял меня, охваченный одному ему знакомой радостью. Я же был смущен и подавлен предстоящим, страх вселился в меня и сжимал сердце. Я цепенел от мысли, что придется выйти на люди. Страх так измучил, что я лишился сна и рисовал, рисовал себя в новом положении, мускулы мои напрягались, я начинал часто дышать. «Александр Карпыч», — слышался чей-то голос, и я прятался под шубенку и замирал.

В памятный день, одетый в учителей пиджак, я вошел в класс и схватился руками за столешницу. Коли бы кто в эту минуту попытался меня позвать, я пошел бы со столом в руках. Видно, такое оцепенение мое продолжалось долго, но по деревенской привычке я швыркнул носом и плюнул на пол.

— С этого, Санька, и начинал бы, — пробасил брат Нефед.

Все засмеялись, и тут в полутьме, я увидел бороды и глаза людей. Брат сидел за первой партой и удивленно

таращил глаза, словно хотел сказать: не видите, что ли, это же наш Пантелей. Я начал цепенеть вновь, но Осин, сосед наш, выручил:

— Саня, проверь-ка, ладно ли я задачку решил?

Онемелой рукой я взял листок и тут только ожил и заговорил:

— Ошибка у тебя, дядя Осип, ошибка.

— Мелешь, Саня, не мог я ошибиться, — подзадоривал Осип меня, вылез из-за парты. Потом ночью, бессонной вспоминал я, как стоял Осип, прислушиваясь к моему толкованию, повернув ухо и ухмыляясь. Я сжимался под шубой, ликовал, хохотал, мне казалось, свершилось «миру представление», как любила говаривать мать. За Осипом с бумажкой полез и брат мой. Он не соглашался и перечил Осипу и, о боже мой, стоял передо мной, не зная, как назвать, и твердил, воротя шею к Осипу:

— Складывать надо, складывать.

— Оба ошиблись. А как я объяснял, будет правильно, — сказал я, пытаясь окрепнуть в голосе.

Мужики сели и зацарапали затылки, брат подмигнул Осипу и кивнул на меня. Внезапным и новым было состояние наше. В этот миг как бы поменялись с ним ролями со взаимного согласия, и весь вечер, как мне казалось, брат дураковато помаргивал глазами, часто смачивая во рту карандаш. Раздался звонок, чего никогда не было при работе ликбеза. Я вышел из класса, покачиваясь, словно только что проскакал верхом сто верст. Голова гудела как котел. Я думал об одном: как бы не встретиться с учителем. Мужики курили и рассказывали о базаре и дровах. Я

стоял среди них малый и растерянный, не зная куда девать длинные рукава пиджака. Учитель не показывался, лишь звонок дал из своей комнаты. Я вошел в класс, сел на стул и голосом, как можно более густым сказал:

– Выньте тетради по письму.

– Вот, это по-учительски, – похвалил Осип. – Только не тетради у нас – бумажки.

В углу блеснул огонек, я спросил:

– Не накурились, дядя Иван?

– Все-все, Саня, – послышалось из угла.

– Свирепов! К доске иди!

Брат выломился из-за парты, горстью темной ухватил мел. У меня в школе было пристрастие к шипящим звукам, как у ребенка к пряникам. Я смачно выговаривал такие слова и дивился: слышится мягко, а пишется без мягкого знака. Из-за сомнений таких я не усвоил правила и безбожно врал на письме.

– Луч, – продиктовал я брату, – и так как план составляли мы с учителем, то, разумеется, слово это было написано правильно. Но страсть к шипящим толкнула к произвольному выбору слова, я добавил:

– Горяч.

Брат долго рисовал слово, наконец, вздохнув, отошел в сторону.

– Не так, – сказал я, переняв от брата мел и приписав мягкий знак.

– Вот и врешь, Санька, – раздался голос. Это была Ольга Горпунова, с которой я пас утят. Я почувствовал, как упало мое сердце, словно кто пугнул меня из-за угла. Ольга выбежала к доске и зачеркнула мягкий знак.

– Мягко же слышится, – защищался я и густо краснел.

– Вот чудак, – махнула на меня рукой Ольга. – Это же мужской род.

– Ну и что! – сломя голову бросился я в спор. Надо было как-то спастись. – Это же прилагательное!

– Мужское прилагательное. Вот чудак!

– Чудачка и ты! Слышишь, как мягко говорится: горяч, горяч, горяч!

Я смачно и щедро шипел, словно плескал воду на раскаленную плиту. Нефед недоуменно глядел на спорящих. Ученики мои брали слово на зуб.

– Горяч, горяч! Мягко!

– Горяч, горяч. Жестко!

– Вот напахали! – качал головой Осип. Не поймешь, где как.

Моя премьера горела, но сдаваться я не хотел. Так просто терять дорогу в жизнь? Я слепо и дико напирал грудью на Ольгу, подталкивал ее к дверям и орал:

– Мягко! Мягко!

Девчонка пожала плечами и вышла из класса. Я, потный и обезумевший, махом кончил урок, сказав рассерженно:

– На этом заканчиваю.

Мужики затолкались, похохатывая.

– Ну и Санька! Как взьерошился, чертенок!

– А Ольга-то как разошлась!

– Кто из них, из грамотеев прав?

– Санька, он, – услышал я голос брата и впервые поблагодарил его за родственную поддержку.

Как поколоченный, вошел я к учителю.

Он проверял тетради и, не глядя на меня, сказал:

– Кончил, значит? Хорошо. Топи печи.

Я хотел к черту послать ликбез, не по плечу он мне. Если такая

нервотрепка будет каждый день, через год в сумасшедший дом отправят? У меня тряслись ноги, кружилась голова, я стоял дурак-дураком. Едва снял пиджак и повесил на гвоздик.

– Не поведу я больше ликбез, – сказал я. – Куда мне. Я не знаю ничего.

– Поди-ка сюда, – поманил меня учитель к столу. – Видишь подчеркнутое слово? Не знаю и я, как его написать.

– Вы-то не знаете?

– Не знаю, Саня. Сейчас загляну в словарь. Молодой я, ой упрямым был! Ошибусь, краснею, но одно твержу: так и никак иначе! Изобличат ребятишки во лжи, а ты пыжишься! Ошибся! И мысли такой не смей в голове держать. Сколько с тех пор годов проработал, а ошибаться не перестал. Мир, Саня, все новые задачи подсовывает.

– В каком вы слове ошиблись?

Учитель хлопнул словарем по ладошке.

– Да мало ли слов, Саня. Ну вот что, не велико дело ликбез. Научи читать и решать, – и хватит. Всякому грамотному это дело по плечу. Давеча тебя Ольга с толку сбивала.

– Вы сквозь стену слышали? – спросил я.

– И скажу: молодец ты. Характер есть. Я думал, выбили тебе характер домашние. Есть он у тебя. Вон как горячо спорил. Ну, а теперь ты мне вроде коллеги. Давай руку. Так вот крепко пожму её.

И тут мой учитель расхохотался.

– Вот видишь, вот видишь, – сказал я с досадой. – Не могу я.

– Не над тобой, – отмахнулся он. – О себе вспомнил. Вошел я в первый раз к ребятишкам, а было это в городе на практическом уроке. Вошел и очумел, стою балда-балдой и чугунную

чернильницу со стола взял. Говорили потом: такое свирепое лицо было, что боялись друзья мои, как бы я той чернильницей не запустил в кого.

– А я в стол вцепился, – сказал я.

– Видел.

– Как видел?

– Я же в классе был. С Ольгой рядом сидел.

Холодная испарина пошла по моему телу.

Хоть ликбез и не настоящее учительство, но слава обо мне скоро обошла село. Баба шла за водой и назвала меня по имени и отчеству. Пораженный этим, я сбился с шага. Первый раз за зиму я шел домой. Меня одолевала робость, словно ничего не произошло со мной и не одет я был в пиджак, купленный учителем на барахолке. Пиджак был перелицован, и на локтях мастерски вшиты заплатки. Заметить их можно, только приглядываясь. Катанки сменить не удалось, я шел домой починяться. С тягостным чувством я перешагнул порог. Пахнуло печеной картошкой, коровьей запаркой, курами. Братишка Васька крикнул с печки:

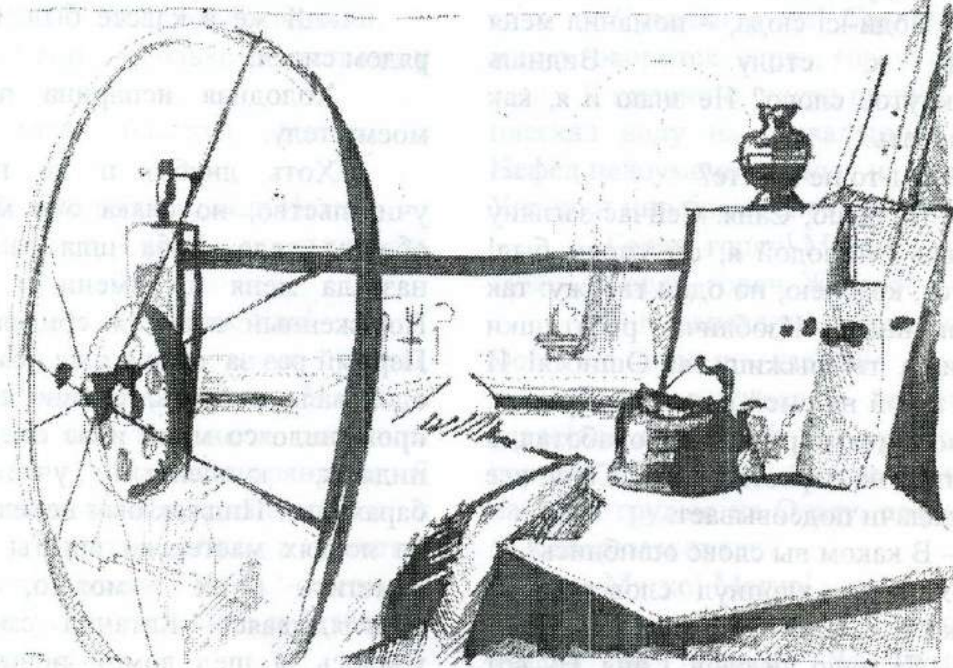
– Пантелей пришел!

Нефед дотянулся до уха его и крепко дернул. В избе все молчали, охваченные неловкостью. Отец заглядывал зачем-то в замороженное окно. Я стащил с себя катанок и примостился к окну, в подоконнике всегда торчали шило и иголка с постегонкой. За плечами я почувствовал теплое дыхание отца.

– Кто же сырые катанки починяет? – заметил он.

Я отмолчался, тогда он добавил:

– Ну да когда тебе сушить. Работает. Мать стащила с печки отцовы катанки и поставила у ног моих.



Н. Паргачева,
выпускница Иркутского худож. училища
Педагог А.С. Щипицын

– Надень. Пол-то ледяной.

Брат отыскал шило половчее.

– Пробуй-ка этим.

Невестка пропела:

– Чашку чая бы выпил.

Я склонился над катанком еще ниже. Я ничего не соображал, механически работая руками. Когда разогнулся, поймал на себе взгляд отца. Знал ли я глаза его раньше? Я боялся в них глядеть. Они давили меня, невидимые, толкали в спину, били по рукам. Я удивился пораженный, серые глаза его казались виноватыми. Я подумал: не ошибался ли в отце? Может, он и не был ко мне злым? Грусть в глазах отцовых, какое-то раскаяние так поразили меня, так я не мог перенести перемену, что накинул шубенку и выскочил из избы.

Смешным и печальным событием обозначилось начало моего учительства.

Раз в воскресенье Семен Семенович ушел к жене на Заимки. Вечером вернулся опечаленный.

– Такое дело, Саня, Григорьевна моя заболела. Фельдшер ничего не может поделывать и в город велит везти. Как мне быть с ребятами. Ума не приложу, – сказал он и устался в пустующий класс.

– С ребятами? Я и останусь! – выпалил я.

Благодарным взглядом оделил меня учитель.

– Сладишь ли? Это не взрослые.

– Слажу! – заверил я. – Ну как-нибудь. Ведь всего два дня.

– Не закрыть ли на эти дни школу?

– Как хотите, Семен Семенович, а я вроде уж пригляделся к вашей работе.

– Вот какое немудрое дело наше, – осуждающе покачал головой учитель. – Давай сегодня пораньше убирайся, и за план возьмемся. План хороший вместе составим. Пособия приготовим. Голову поди не снимут за это.

До позднего часа мы составляли с учителем план. Все мне было ясно. В задачке и грамматике сам разобрался. Учитель похвалил меня и вроде веселее стал. Ночью я проводил его за реку к поезду. Вернувшись, будильник поставил у самого уха, а было хоть не ставь: часто пробуждался, не зажигая огня, вглядывался в глухую черную ночь. Чуть забрезжилось, я был на ногах. Умылся хорошо и надел пиджак. С утра в школу ходили мальши. Я стоял у дверей, как делал Семен Семенович, и встречал ребят. Закутанные в платки и шарфы, шарами вкатывались они за порог, заворачивали на меня курносые мордашки, крича:

– Здравствуйте!..

Недоуменно глядели на меня и убегали в класс прятать сумки. Швыряя носами, возвращались и спрашивали:

– Ты, Санька, учить нас будешь?

– Буду учить, – отвечал я ласково.

Ребятишки хлопали руками, радуясь, и я радовался вместе с ними, говоря себе: «С малышами дело пойдет». Я бойко покрикивал, заглядывал на будильник; с великим волнением дал звонок и с улыбкой, с какой входил к детям учитель, вошел в класс. Игривое чувство охватило меня. Я вслушивался в себя, радуясь звонкому и смелому голосу. Требовал сесть правильно, вынуть тетради. Мальши привычно устраивались за партами, оживленно глядя на меня. Я радовался – они радовались, и все

сливалось в один клубок воодушевления. Это были дни перехода от букваря к хрестоматии. Я растолковал непонятные слова стихотворения, потом старательно прочитал его, как делал Семен Семенович. Один за другим читали ребята стихи, едва складывая слоги, а я похваливал и ставил оценки. Досадливо покосился на будильник, загремевший на моем столе. Я чувствовал, как заполняет меня праздник. Я замечал, как я высок в сравнении с малышами, как густ и бархатист ломающийся мой голос. «Санька, Санька!» — простодушно обращались ко мне малыши, и я терпеливо поправлял их: «Александр Карпович». Голова кружилась приятной усталостью, и мне жалко было, когда, прощаясь, ребяташки выбежали из школы. Не поевши, я оделся и вышел за порог. Был солнечный март. С полей и лесов дул ветерок и нес запахи наступающей весны. Я не знал, куда девать себя, и пошагал к своим.

— Эко разубыбился! — так встретила меня мать на крыльце.

— Весело, Санька, живешь, — съехидничала невестка.

— Как ему не радоваться: учителем стал, — сказал брат.

Младший брат, насмешливо глядя на меня, хихикнул:

— Хе! К Саньке учиться пойду.

— Откуда знаешь? — спросил я.

— Вся деревня знает: Санька учит.

— Свету преставление! — прошипела невестка. — Вот пользы от него, вот добра. Что ты знаешь!

— Уж, видно, знаю, коли заставили, — сказал я с достоинством.

Из всех своих мне более других была ненавистна невестка. Я видел, что

она добрее ко мне не стала, искры озлобленности так и сыпались из ее глаз.

— Может, поешь, — сказала мать.

— Сытый, — ответил я. — И тороплюсь — скоро вторая смена.

— Как ему не быть сытым: двойные деньги идут — за сторожа и за учителя, — сказала невестка.

— Конечно, — спокойно ответил я.

Я слышал, как шумно невестка вскочила с кровати, как с треском зачесала перед зеркалом волосы.

У меня не проходило праздничное настроение. Бывает же такой прилив счастья, что кажется ничто не способно умалить его. Я чувствовал в себе какую-то упругость. На голову ниже отца и брата, я, казалось, был выше их.

В школу я вернулся, когда собирались старшеклассники. Я не ел и есть не хотел.

Блаженно улыбаясь, я ходил по классу, переставляя счеты и развешивая таблицы. Намочил тряпку и приготовил кусок мела. Дверь в класс то и дело открывалась, и я слышал восклицания, которые меня настораживали.

— Санька и есть!

— Вот это учитель!

Шли последние минуты, и меня охватило сомнение, сумею ли я справиться со старшими. Иные ростом с меня, а силой, может, и покрепче. Я боялся выйти в коридор, а выйти надо было: что-то там зазвенело. Я думал, свалили бак с водой, и вышел. Пыль стояла столбом. Двое боролись и не могли побороть друг друга.

Десяток мальчишек играли в чехарду. Я басовито крикнул:

— Ти-хо!

Ребята не унимались.

Как делал в таком случае Семен Семенович, я зажал уши и знаком этим хотел навести порядок. Я ведь и сторож еще, я мог схватить из угла палку и навозить зачинщиков. Но тут же устыдился такой мысли.

– Ти-хо! – крикнул я вновь и услышал:

– Кучу малу!

Это крикнул наш соседский парнишка Андрюшка.

Я хотел было воспрепятствовать Андрюшкиной затее и шагнул к нему.

– Саньку в кучу малу! Саньку! – крикнул он, вцепился в мой пиджак и широко расставил ноги, готовый ко всему.

– Вали его! Вали!

Меня окружили, а я как можно спокойно и внушительно сказал:

– Звонок подай, Андрей. В класс, ребята.

– Нет! Сначала помять надо, чтоб мягкий был, – настаивал Андрюшка.

Я тогда же подумал, что это были не его слова, не мог их сказать глупый парнишка. Кто-то его научил. Да уж не невестушка ли моя! Я раздвинул круг, бросился к дверям и тут услышал, как затрещал пиджак. Рукав сполз с плеча и повис. Кто-то пнул мне под колени. Я сумел упасть на живот и подложить руки под лицо. Я был крепче многих и не боялся боли физической. Я думал о пиджаке, об оторванном рукаве и орал:

– Вот падлы! В самую грязь свалили!

Ребятишки повскакали и унеслись в класс.

Я поднялся с полу и стал стряхивать пыль с пиджака. Все во мне негодовало. Я взял кочергу и вошел в класс. Я, видно, был страшен для ребят,

потому что они шумно поднялись и похватили сумки. Я не видел на их лицах ни ехидства, ни ликования – они стояли передо мной красные и употевшие и виновато швыркались носами. Я отбросил кочергу и повалился на стул, простонав:

– За что вы! А! За что так!

Когда я поднял голову, в классе не было никого.

Я отомкнул учительскую каморку. Вздрагивающей рукой написал:

«Дорогой Семен Семенович!

Не ругайте меня шибко. Не гожа на ваше дело. Тут вам расскажут, как все вышло. Подвел я вас, извините. Я в город подался. До свиданья!»

Мне надо было домой зайти непременно. Я нашел предлог: починить рукав.

– Кто тебя так укатал? – устало и без интереса спросила мать.

Невестка к зеркалу отвернулась и шпильку в рот взяла, наверное, затем, чтобы удержаться от смеха. Я подошел к ней и повернул к себе.

– Ты подговорила? – спросил я.

Мы никогда так близко не глядели друг другу в глаза.

Она не выдержала взгляда и отвернулась. Я сам кое-как залатал пиджак, оделся и сказал матери.

– В город я.

– На вовсе? – спросила она.

Я не ответил. Я шел по реке к станции. На горке я оглянулся, прощаясь с родным селом.

Я не знал тогда, что боли забываются.

Улыбки Первоцвета

Александр Банков
г. Санкт-Петербург

МИР – ЭТО ЧАСТИЦА

В двадцать третьем веке на Земле наступило светлое будущее. Все люди стали шибко умными и мудрыми. Государства, политика, войны, голод и прочие напасти – все это осталось в прошлом. Никто больше не обижал друг друга и преступлений всяких не учинял. Жили, ходили друг к другу в гости, летали к инопланетянам в другие звездные системы и в двадцать втором веке Земля вступила в Великое Кольцо Миров, куда входили все мудрые и мирные цивилизации. В общем, установились во всей Вселенной всеобщая благодать и счастье.

Но ещё находились на Земле отдельные личности, в которых бурлила кровь завоевателей и покорителей всяческих мастей и не давала им покоя. Хотели они Вселенную покорить. И злились от того, что почти на каждой планете уже была своя разумная жизнь, а значит, по Вселенскому Закону, без разрешения туда лезть нельзя.

Говорят, все люди раньше такими были. Лишь бы им все захватить, покорить да уничтожить. Но в двадцать третьем веке на Земле таких набиралось не больше десяти. Почти все они

сидели по своим домам и там, в одиночестве, злились. Почти все, да не все. Был среди них один уникум. Звали его Кортесом. Конечно, он не имел никакого отношения к тому Кортесу, который много веков назад покорил империю ацтеков. Но по сути своей Кортес был покорителем, поэтому его так и прозвали. Только вот покорять ему было нечего. Злился, злился Кортес, как все остальные, но вскоре надоело ему это занятие. Стал он думать. Думал, думал и придумал.

– Эврика! – закричал Кортес и приступил к работе.

Трудился бедняга десять лет подряд без перерыва. Всех земных ученых замучил своими расспросами. И вот на одиннадцатый год закрутил он последний болт своей странной машины и выкатил её из мастерской на свет божий.

Как раз в это время мимо шла соседская девушка и увидела, как Кортес выкатывает тягачем из своей мастерской большую странную машину. Подошла она ближе и видит, что машина эта выглядит, как большая конусоидная воронка, с широкой стороны этой воронки стоит большая

платформа, с узкой – маленькая колбочка с пустотой, а к воронке со всех сторон подключены большие генераторы и в разные стороны торчат сотни проводников и антенн.

– Эй, Кортес! Неужто ты опять какую-нибудь ненужную пушку соорудил? – удивилась девушка, завидев странную машину (все в округе знали, что он раньше сооружал всякие разные военные орудия, поэтому девушка и подумала про пушку).

– Ха! – ответил Кортес. – Это не пушка. Это покрупче пушки будет.

– Так что же это, если не пушка? – не поняла его девушка.

– А ты приходи через три часа, когда я корабль смастерю, тогда и увидишь, – сказал Кортес и установил машину на пустыре рядом со своим домом.

– Приду, а чего ж не придти, – крикнула девушка и убежала домой.

Минуло три часа. За это время Кортес собрал в своей мастерской межзвездный корабль, потому как в двадцать третьем веке сделать такой корабль мог каждый дурак. Это так же просто, как нам сделать воздушного змея.

Вылетел на нем Кортес из мастерской и установил его на платформу перед широкой частью воронки. К этому времени народ уж со всей округи собрался. Это девушка всем разболтала, что, мол, Кортес какую-то новую штуку учудил.

– Колись, – говорят они, – Кортес, что задумал? Неужели опять зверское оружие изобрел?

– Нет не оружие! – засмеялся Кортес. – Я, наконец, придумал, как завоевать Вселенную!

Люди на это только посмеялись. Уж не первый раз заявлял Кортес, что

завоюет Вселенную, и каждый раз прилетал патруль Кольца и ломал его глупые пушки одним усилием мысли. Поэтому они думали, что на сей раз прилетит патруль и сломает его машину. Но вот Кортес стал включать свою машину, патруля все нет. Хоть самим ломай.

Подключил свою машину и к народу спустился.

– Речь буду вам говорить, господа соседи, – сказал он. – Вычитал я в одной старинной книге аж двадцатого века интересную мысль, придумал её один философ по имени Илдис. А сказал он, что коли человечество должно выйти из своей колыбели и начать неограниченную экспансию в космическое пространство, что ещё ранее придумал Циолковский, и вдруг это самое человечество обнаруживает, что раньше эту процедуру уже начали другие, более развитые цивилизации, и ему там свободного места нет, то надо изменить стратегию и начать экспансию вглубь элементарных частиц, чтобы войти во «внутреннюю Вселенную»! А я думаю, вы, господа соседи, слышали про то, что каждая частица содержит в себе целую Вселенную. Хотя сию гипотезу ещё никто не проверял. Ну, так я буду первым. Для того я соорудил эту машину. И вот сейчас прямо на ваших глазах я войду внутрь Вселенной и захвачу её. В этой прозрачной колбе в магнитном поле висит один электрон, в который я и помещусь.

Завидя народ, забурлил. Может, они про Илдиса никакого и не слышали, но про Циолковского уж точно все знали. Был такой злобредный дяденька в двадцатом веке, что завел всю Землю в тупик своими тупоумными идеями про экспансию в

космос и придумал глупейшие ракетные двигатели, которых потом понаделали и ими всю атмосферу запаковали, а уж сколько ресурсов и времени почем зря потратили, так и не сосчитать. Почти век длилась эта потрясающая тупость, пока в середине двадцать первого века не запретили гадкие ракеты делать и в космос без дела летать. Ведь каждому слабоумному идиоту известно – не экспансия, а общение и творчество – вот что важнее всего во Вселенной. Поэтому не понравилось народу кортесова речь. Стали они расходиться, махая руками в сторону Кортеса, мол, идиот неизлечимый. Иные, те, что поприкольнее, остались и стали спрашивать Кортеса:

– А как же ты, мил человек, такой большой в маленькую частицу влезешь?

– Так ведь все относительно! Когда я с помощью моей машины пройду пуповину между той и этой Вселенной, там я стану ей соразмерный.

– А что, там и звезды, и галактики есть? И люди, наверное, тоже?

– А, бог его знает, что там есть. Сначала захвачу, а потом разберусь, – сказал Кортес и стал забираться в корабль.

Народ разбежался по сторонам. А то, мало ли что, вдруг кортесов агрегат ненароком взорвется. Но далеко расходиться по сторонам не стали, уж очень интересно было, неужели и вправду в электроне целый мир имеется. Многие слышали про эту теорию множественности вселенных, но никто её никогда не проверял, и внутрь частиц не залезал.

Зажмурился Кортес и включил свою машину. Большая розовая вспышка озарила площадку перед

воронкой. И смотрят люди – исчез корабль и вместе с ним Кортес. Стоит пустая платформа. И только дымок с неё поднимается.

– Неужто переместился?! – Хором вздохнул народ.

А в это время Кортес уже пронесся сквозь тоннель, да так быстро, что не заметил, как очутился в другой Вселенной. Раз – и все, никаких там свечений, морганий и тряски. Посмотрел он в иллюминаторы корабля и видит, что вокруг звезды светят, галактики и туманности кружатся. Обрадовался Кортес. Да как заорет: «Получилось!», – и руками по пульта управления шандарахнет так, что тот чуть было не сломался.

И вдруг кто-то телепатически задает ему вопрос: «Что получилось?»

Испугался Кортес, насторожился и айда по сторонам оглядываться. Посмотрел он в задний иллюминатор, пригляделся и видит, что позади его корабля Пуп Вселенной мерцает, ну, не пуп, а воронка. Звезды там перемешаны да разбросаны, одна на другую находят и смешиваются, сияния разные мерцают, такое впечатление, будто там вселенская мясорубка крутится, да так сильно, что само пространство там кручено-перекручено. Пуще прежнего испугался Кортес. Как же это он такую ужасную катавасию пролетел?!

И вдруг видит Кортес, что среди прочих сияний выделяется одно особенное. Разными цветами переливается и к нему все ближе и ближе подходит.

Не на шутку испугался Кортес и направил на это свечение все свои пушки да ракеты, что он на корабле установил. И думает, что во враждебную Вселенную попал.

– Послушай, землянин, не собираюсь я на тебя нападать, – вновь услышал Кортес в своей чумовой башке.

– А ты кто такой и откуда меня знаешь? – спросил Кортес дрожащим голосом.

– Я – Малый Абсолют, поставлен здесь, чтобы таких чудаков, как ты, встречать. Я знаю всех, кто во Вселенной обитает, стало быть, и тебя тоже.

Замешкался Кортес, прямо-таки и не знает, что сказать. Много вопросов в его ненормальной голове крутится, да только он не знает, какой из них первым задать.

– Что за имя такое странное «Малый Абсолют»? – наконец, выдавил Кортес из себя.

– Малый, значит – малый, иными словами – не большой. Во мне миллион таких же, как ты, личностей слились, а в большом – все личности, что живут во Вселенной, сольются. Но это ещё не скоро будет.

– А про какую Вселенную ты говоришь? Про ту или про эту.

– Про эту, про эту, – ответил Абсолют.

– Про ту «эту» или про эту «ту»?

– Ну, братец, ты даешь! Ты сам хоть понял, что сказал?

– Ладно, не выпендривайся! Лучше, колись, попал я в электрон или нет?

– Попал, попал.

– Откуда же ты знаешь меня, если я из той Вселенной?

– Я уже говорил, что всех знаю.

– Ну, и фиг с тобой. А я полетел эту Вселенную захватывать.

– Давай, давай, я даже могу подсказать, какую планету в первую очередь нужно захватить, – сказал Абсолют и передал Кортесу её звездные координаты.

Обрадовался Кортес, приготовил все оружие, включил гиперэлектромагнитные двигатели и мгновение спустя перенесся к вышеозначенной планете.

Стал он корабль вниз направлять и по всем частотам через передатчик кричать:

– Сдавайтесь! Или я сейчас всех на кванты разнесу, к чертовой матери!

Подлетел он ближе и видит: уж больно планета знакомая. Опустился ещё ниже и ахнул, снизился совсем низко и чуть было в обморок не рухнул.

Как вы понимаете, читатели дорогие, увидел он не чужую планету со злобными инопланетянами, а Землю. И вот опустился Кортес к своему дому. А там ещё народ толпится, глядит на его странную машину и гадает, попал Кортес в электрон или нет.

Разозлился Кортес и тут же вернулся к Пупу Вселенной.

– Эй, Абсолют хренов! Ты, блин, совсем офигел! Зачем наврал, что я попал в электрон?

Засветился Абсолют, растекаясь вокруг корабля Кортеса. И сказал:

– Я никому никогда не вру!

– Так чего же я опять на Землю попал?

– А это оттого, что ты глуп, как пробка. А коли не веришь, можешь проверить. Влети обратно в Пуп Вселенной, что соединил нынче с твоей странной машиной.

– И влечу! – сказал Кортес и влетел.

И спустя мгновение он вновь очнулся на платформе около воронки.

Вылез разозленный Кортес из корабля, а народ его спрашивает:

– Ну, как там в электроне? Все как у нас?

– Никак. Идите к черту! – закричал Кортес, растолкал всех и пошел домой думать.

— Совсем Кортес свихнулся, — решили люди и разошлись, кто куда, по своим делам.

И вот сидит Кортес и думает: «Как же случилось так, что он попал в такую же Вселенную? Неужели благодаря чуду чудесному выбрал он частицу с копией своей родной Вселенной? Ведь и такое возможно!»

— А что, если я возьму другой электрон и попробую в него влететь? Уж наверняка в нем Вселенная другой будет.

Так и сделал. Поймал Кортес другой электрон уловителем и положил его в колбу вместо старого. Потом снова залез в корабль и включил свою странную машину. Вылетел он из Пупа другой Вселенной и обрадовался. Абсолюта нигде не было, стало быть он попал в другую Вселенную.

Но не долго радовался бедняга.

— Ну, что, это опять ты? — вдруг услышал Кортес у себя в голове.

— Как, что?! — огляделся Кортес вокруг и не увидел ничего.

Прочитал его мысли Абсолют и сказал:

— А я теперь невидимым стал. Надоело мне светиться.

Не стал Кортес с Абсолютом базарить, а сразу же к Земле ринулся. И опять прилетел он к своему дому, а там все так же.

Совсем вышел из себя Кортес и злобой невероятной наполнился. Снова вернулся он обратно в Пуп Вселенной, взял там другую частицу и в нее переместился. И снова Кортеса ждал облом. Опять он очутился у себя дома. И вновь повторил Кортес ту же процедуру. Чего он только ни пробовал

в колбу совать: и электроны, и протоны и нейтрино, и всякие другие частицы, но так и не попал в другую Вселенную, а все время в нашу возвращался.

И вот уж на сто какой-то раз сжалился над ним Малый Абсолют. Остановил его корабль и сказал:

— Устал я, братец, на твою глупость смотреть. Сколько можно туда-сюда летать, неужели не ясно, что нет в частицах никакой другой Вселенной, а только эта. А посредством этого Пупа Вселенная соединяется со всеми частицами, наполняющими ее. И каждая частица содержит в себе нашу Вселенную, а Вселенная содержится в каждой частице. Оттого вся наша Вселенная самозамкнута. И ты никогда не попадешь в другие Вселенные с помощью своего агрегата, а так и будешь летать сюда, как последний идиот.

— А как же туда попасть? — взмолился Кортес.

— Путь в них лежит через познание самого себя и ближних своих, дурья твоя башка! Оттого и важно во Вселенной творчество и общение, чтоб все люди объединились когда-нибудь в Большой Абсолют, и тогда откроется им путь в иные миры. Понял, дурья башка?

— Нет, не понял, — тупо ответил Кортес, вконец замороченный речью Абсолюта.

— Ну, и лети отсюда, идиот ты неизлечимый.

Ничего не понял Кортес и с тем улетел к себе домой. Где прожил до скончания века, пока не помер, а когда родился вновь — стал умнее.

Первоцвет № 3 (7)

Литературно-художественный альманах для юношества

Учредитель:

Областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина

И.о. главного редактора С.В.Зубакова

Областная юношеская библиотека им. И.П.Уткина и редакционная коллегия альманаха

***«Первоцвет» сердечно благодарят оперативную мини-
типографию «На Чехова» за помощь в издании альманаха,
понимание и поддержку***

Альманах зарегистрирован в Восточно-Сибирском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой
информации и печати

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ И НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ

Адрес редакции: 664011, Иркутск, ул. Чехова, 10, тел. 27-07-93, 20-43-01

E-mail: library@youlib.irk.ru

Электронную копию альманаха «Первоцвет» вы можете найти в Интернете по адресу:

<http://almanah.irk.ru/>

Тираж 250 экз.

Заказ № 199

Цена свободная

Отпечатано в мини-типографии «На Чехова»

г.Иркутск, ул.Чехова, 10, (3952) 27-33-56

Лицензия ПЛД №40-37

E-mail: chehova@irk.ru

www.na-chehova.irk.ru